

Annotation

Владимир Ольгердович Рекшан родился в Ленинграде в 1950 году. Окончил исторический факультет ЛГУ. Известный спортсмен, рок-музыкант и путешественник. Автор десяти книг, таких, например, как “Кайф”, “Ересь”, “Четвертая мировая война”. За роман “Смерть в Париже” в 1997 году получил литературную премию петербургского ПЕН-клуба. Роман «Ужас и страх» удостоен премии журнала «Нева» за 2004 год.

- [Владимир Рекшан](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
-

Владимир Рекшан

Ужас и страх

Роман

Глава первая

Что же он так нажирается всякий раз, когда надо принимать главное решение? И чего ради пить там, где народ ест гречневую кашу и говорит рафинированно? Не знаю значения этого слова даже по отношению к подсолнечному маслу, но все равно пользуюсь им. Рафинированно — нерафинированно! Суть в смысле — зачем на люди выходят? Выходят алкоголики, которым скучно пить дома. Выходят девицы, которым замуж невтерпех, которым хочется не просто спариваться, но и вить гнезда... Потом они все равно друг с другом переспят в разные декады года. Станут большой семьей, словно “длинный дом” ирокезов у Моргана и Энгельса. А их парни с серыми подвальными лицами? Мятые и никакие. Но молодые пока! И это значит, что им еще рано идти на войну...

— Совсем не хочу! — говорит толстый Женя. — И не пойду! У меня инвалидное удостоверение! Я и так еле ноги волочу — старый, больной человек.

Он толст, как четыре Пушкина, и пьян, как три Есенина. Язык у него уже развязался, словно шнурки у ебара.

— Женя, — говорю я, — вот и отлично. Теперь тебя не жалко. Теперь тебя можно просто посадить у дороги и заминировать, чтобы враги подорвались.

— Меня заминировать не надо, — говорит он неожиданно тихо и трезво.

— Теперь будущее от тебя не зависит. Это же мы все придумали, и ты был “за”, хотя и пьяный. Зачем на войне умирать молодым, когда в ней виноваты старые? Старые должны умирать за свои старые дела.

Он снимает очки и кладет на стол. Вынимает пластмассовую челюсть и опускает рядом с очками.

— Я сейчас махаться начну, — говорит без челюсти шепеляво. — Это вы с Пашей и Сашей. Вам воевать, мать! А меня убивать?

— Лучше умереть в бою, — говорю я. — Красиво умереть вместо своих детей. Нас не жалко.

— Это вас не жалко! А меня мне будет не хватать. Да. Меня мне будет не хватать.

Он начинает смеяться и кашлять. Он достает из-под стола бутылку и наливает в стопку. Мы сидим в подвале на сквозняке. Здесь нельзя пить водку, но попробуй ее от Зягина отними. И не отнимают сегодня,

поскольку знают: нам завтра идти на войну... И вообще тут в подвале такое место. Никогда нельзя, но всегда можно. Особенно сегодня. Говорят, будто самый старый генерал отказался в пользу самого молодого. Интересно было бы знать: где это все-таки произойдет? и как?

В тугую створку двери вваливается Паша-Есаул. А за ним Серега Усов в английской шапочке, похожий на доктора Ватсона и Шерлока Холмса одновременно. Если б еще не его татарская курносость и славянская бородатость.

— А! Ага! — реагирует Женя, а Паша протягивает руку и опрокидывает стопку. Он ее в рот опрокидывает, а не на стол. Водку жалко, а нас — нет. Мы старые уже, а водка всегда молодая, как наши дети. Впрочем, Паша не старый еще. Просто хочется ему казаться — матерым и воинственным.

— Теперь все дозволено, — возбужденно начинает Паша, а Усов озабоченно потирает руки, моргает, смахивает слезинку и пожимает плечами.

— Что там дозволено? Что? — сам себе задает вопрос и не находит ответа.

— Вы садьте, что ли, — говорю им, а толстый Женя:

— Садитесь, мать, — ворчит. — В ногах правды нет.

— Но правды нет и выше, — подхватывает Усов-Ватсон и дробно смеется. — А в чем есть? В руках? В зубах? В головах?

— В х...х! — возвышает голос Зягин, а Паша и Усов-Холмс садятся.

— Зачем это здесь? — начинает Паша про челюсть толстого Жени. — Почему зубы? Ты вырвал зубы? Ты не хочешь идти воевать?

— Не хочу воевать, мать, ни с кем.

— За самострел в военное время...

— А не выпить ли нам, господа, — перебивает Усов-Ватсон. — Не выпить ли нам водки, друзья, в этот весенний холодный вечер? Да и скоро в поход. И — волнительно. Поход! А когда? Кто знает когда? И из чего стрелять? И, что немаловажно, в кого? Никто ничего не объяснил.

Появляется Сека Скатский. Секу зовут Саша. Если сказать долгую речь про его безумный взгляд, значит, не сказать ничего. Он преподает в университете курс философии, а вне университета пишет и издает популярные парадоксы про войну. На него молятся молодые, которым еще рано умирать. У Секи еще более монгольские скулы выделяются на изможденном лице. Секу зовут Саша. Саша актуален, как герпес морозным утром, как теща на перроне с мешком на колесиках, как зеленое знамя ислама на пике Ленина... И Секу теперь совсем не жалко, потому что это

мы так решили в позапрошлом году, и шутили, и сочиняли, и даже в Манеже устроили акцию с империалистическим заявлением про то, что Босфор и Дарданеллы наши...

Итак: Злягин, Паша-Есаул, Серега Усов, Сека и я. Еще порывался Лысый Католик, но хотя он и выглядит на пятьдесят, ему всего тридцать два, и его на фронт не берут, а нам отправляться, если не завтра, то послезавтра. Это точно. И тут ничего не попишешь, поскольку все написано. Мы и написали. А Комитет солдатских матерей подхватил. Бабы, тетки, женщины и девки поперли на демонстрации. Устроилось все быстро и ловко. Года не прошло, как подключилась Дума. Затем и президент подписал...

— Ты так и хочешь умереть трезвым? — спрашивает Серега.

— Хотя бы я, — отвечаю привычно, но неуверенно.

Подходит Наташа. Она главная. Она сирота. Она вглядывается приветливо — так рассматривают покойника в гробу, когда он знакомый и его жалко. Между нами еще не проведена черта, но пунктир будущего обозначен.

— Как вы? Все хорошо? Только закусывайте, закусывайте... И не уходите. Мы должны официально.

— Нам не завтра. А послезавтра, — улыбается Паша.

— Все равно, — улыбается Наташа. Печально-печально.

— Родимая! — Женя запихивает челюсть в рот и надевает очки. — Родимая. — Он берет ее руку и пьяно целует. — Это они виноваты, а я не хочу. Я играл словами, а им гранаты подавай.

— Все обойдется, — говорит Наташа и отходит.

Что ей сказать? Нам — ей, ей — нам. Ее мужа тоже призывают. Хорошо, что есть, поскольку у многих и без войны нет. Но и его не жалко.

— Давайте-ка выпьем за справедливость! — говорит Паша. — Совершенно справедливо умереть за свои слова. А я от слов не отрекаюсь.

Они пьют, а я — нет. Но не так уверенно, как всегда. Смотрю по сторонам и вижу девчонок. Разные такие и неглупые, наверное. Уже не узнаю никогда — умные, глупые, нежные, стонут, или скрипят зубами, или скачут, как Буденный против генерала Шкуро...

Я дружу с ними только из-за их пьянства. Когда они выпивают литр, я пьянею на сто грамм. И так восемь с половиной лет. Восемь с половиной лет ни в одном глазу. И чего ради? Чтобы стать трезвее всех, но так же, как и пьяные, идти на фронт помирать в пятьдесят два года. Почти в пятьдесят два. И не от Рождества Христова, а от собственного...

Какой, однако, бардак на столе — окурки в свекле над майонезом.

Традиционная русская кухня! Две стопки упали вдребезги. Злягин сидит, словно каменная баба. Как его тащить на себе, если ранят? Лучше б его убили... Что это?! Ведь не фронт еще. Послезавтра туда. А сегодня мы еще повеселимся, повыпендриваемся, повозникаем, покочевряжимся, помудрствуем лукаво, подебоширим в разумных пределах, попижоним, как голуби, как голубцы или голубчики.

Встаю, и стул скрипит. Три шага до буфетной стойки — там Нина с худыми плечами. И ноги худые, но всегда в джинсах. А профиль южноосетинский. А волосы прямые, словно у Аленушки и братца Иванушки.

— Нина, — начинаю, а она подхватывает нежно:

— Слушаю, — и я произношу не то, что хотелось бы:

— Принеси, Нина, пьяным новобранцам восемь котлет и четыре селедки, пожалуйста.

— И хлеб? — спрашивает она нежно, словно ручеек. Так нимфоманки говорят, когда уже не хотят, или поздние девственницы, которые уже не рассчитывают. Или я ошибаюсь, как всегда, поскольку мне, говнюку, интересны не живые люди, а их интерпретации...

— И хлеб, да, — отвечаю. — восемь хлеба, а лучше двенадцать.

В динамиках за стойкой поют иностранные педрилы нежными голосами. Такая нежность! В голосах, во взорах, в дряблых икроножных мышцах, мышцах бедра, в бицепсах и трицепсах. С такой молодежью разве можно выиграть нормальную войну? Вон чечены в горах — говорят, на половом члене, как на палке, могут ведро картошки пронести. Поэтому их не надо звать законами в бой...

— А мне кофе, — добавляю. — Должен же я что-то делать среди этих алкоголиков.

— Должен, — соглашается Нина и уходит на кухню. А я думаю: может, пойти за ней и напасть возле мойки. Но — нет. Я не чечен. Ни в прямом, ни в переносном смыслах. И поэтому меня не жалко никому.

А тем временем:

— Могизм на марше! Мога никогда нельзя увидеть в быту. — Это Сека мрачновато и простуженно, а Серега — про свое:

— Я офицер запаса, — говорит, — поскольку после института был на военных сборах, — Серега посмеивается, прикрывая ладошкой рот. — Только учебную гранату бросил и попал в полковника.

— Какая может быть борода у боевого офицера? — мычит толстый Женя, а я, вернувшись к столу, пытаюсь направить слова в русло:

— Вы же все армию косили! Паша, скажи.

— Скажу. Косил. А Сека не косил. Он парашютист.

— Философ, мать, парашютист?

— Сорок прыжков.

— Затяжных?

— Затяжных. Как сигарета.

— Не все косили! — обижается Серега и почти кричит: — Я — офицер! Русский офицер! Но не стрелял. Ни в кого не стрелял.

— Вот и постреляешь, — успокаиваю я его. — А из чего, кстати? Что нам дадут? Может, дадут нам огнеметы? Будем бежать по полю в атаку с огнеметами наперевес.

— Ты несешь ахинею! — кричит-мычит Женя.

— Я этого толстого мудака слышать не желаю, — морщится Паша. — А не выпить ли нам, чтобы его не понимать?

Интересно, как мы выглядим со стороны? Да мы же в городе не одни такие. Хоть какой-то смысл появился в этом бесконечном их пьянстве. И мой смысл сидения с ними. У Сереги русая руссконародная борода, у Зягина седая и коротко подстриженная. Есаул выбрит заподлицо, а Секу с бородой и не представишь. У меня же двухдневная щетина — так модно. Одеты мы умеренно хорошо, по среднестатистической моде. Мы скорее похожи на шпионов, чем на пехотинцев. Только кто на нас в поле смотреть будет? Говорят, враг идет с юга сплошной черной массой, как саранча. Даже листочка после них не найдешь. Да какие теперь листочки? 12 апреля — День космонавтики. Помню, давно было детство, и помню себя возле кинотеатра “Спартак” на Кировной. Там мы играли в фантики. Ползали по асфальту, растопырив пальцы. И вдруг — заструился народ и зашумел, и улыбки, улыбки, улыбки, смех! И закричали: “Гагарин в космосе! Да здравствует социализм!” Социализм в космосе я представить не мог, а теперь и не смогу никогда. И было солнечно. Тепло было тогда, а сегодня целый день моросит.

И вдруг я протягиваю руку. Протягиваю руку, чтобы. Руку, чтобы взять стопку. Взять стопку, чтобы поднять и приблизить. Поднять и приблизить к губам, чтобы. К губам, чтобы разжать губы и зубы. И бросить, как в топку. И бросил. И вспыхнуло пламя. Сразу захотелось блевануть, но тут же расхотелось — я пил однажды с печкой на Карельском перешейке, где жил в лесу в дачном домике при температуре в минус тридцать по Цельсию, когда казалось, будто жизнь закончилась ни за что в тридцать пять, сидел напротив горячей печки и разговаривал с огнем, бросал в него водку из рюмки, а огонь отвечал, хрустели березовые чурки... Сумасшедшая тогда получилась зима...

— Он выпил... Он же выпил... Он же сбрендил...

— Ты выпил? Неужели? — Надо мной склоняется Наташа и вглядывается-всматривается.

— Это не считается, — отвечаю я. — Мы ведь отправляемся на войну. А война спишет все.

— По этому поводу надо выпить! — Паша мною доволен. Все мною довольны. Теперь я им нравлюсь по-настоящему. Враг далеко покуда, а я рядом, как оправдание-искупление, взял как бы их грехи, их смешное тщеславие на себя.

А тем временем сосуды сжались, и голова заболела. Какой-то геморрой, а не голова. Сосуды против, а мозг — за.

— Все-таки рано мне. Поздно, точнее, — бормочу и поднимаюсь. Через четыре шага оказываюсь в дохлом коридорчике, упирающемся в раковину. Справа от коридорчика кухонька, а слева сортир, в котором журчат мочой о фаянс. А в кухоньке на расстоянии двух шагов от мочи жарятся, почти разговаривая между собой, котлеты в сковородке.

Из двери девица — я в дверь. Я блюю в ее плохо спущенную мочу, и мне плохо, хуже всех. Слюни повисают на подбородке. Можно ведь и помереть в этом сральнике, так и не добравшись до фронта. Скрючиться возле унитаза, упасть головой в корзину с говняными бумажками, почувствовать сырость пола и запах хлорки. И умереть, скончаться, отмучиться, дать дуба, отбросить копыта. Отбросить копыта лучше всего! Потому что я презрел идеалы: восьмилетние трезвые идеалы лопнули и рухнули, будто небоскребы в Нью-Йорке. Опять приступ, позыв, блевотный кошмар...

В зеркале над раковиной лицо серийного убийцы, от которого только что упорхнула жертва. Никакое. Пустое и без цели. Вот я выпил, хотя... Нет, выпил — значит выпил. Но ведь и выблевал все. Так выпил я или нет в итоге? Я знаю ответ, но не хочу правды...

— Жена, — говорил Паша, — я ее уважаю. И у меня обязательства.

— Да перестань ты, — задушевно вкручивает Женя. — Какие теперь жены? Да я и разговаривал с ней. Сегодня нам все можно, и завтра тоже. Идем на войну. Хотя я и не пойду ни фига.

— Как так? — вздрагивает Сека ястребом.

— Я, как русский офицер из запаса, непременно должен испытать бой за родимую Родину. — Усов плавными движениями рисует в воздухе линии полей и волнистых пригорков.

— Потому что мне по большому счету наплевать. — говорит Злягин.

— Наплевать на что? А дух воинственности? — Сейчас Сека клюнет

его в глаз.

— В этих цивилизационных войнах мое место в библиотеке. Или в кочегарке, — говорит Женя. — А ваши жены меня достали! Писатель плевать хотел на жен! Плевать, плевать, плевать!

— Что это ты расплевался на мою жену, — говорит Паша и бледнеет, хватая толстого Женю за плечо.

Тот на удивление ловко выворачивается, вынимает челюсть, сует за пазуху, снимает очки. Скоро они уже дерутся, выдавая друг другу тумачи. Потасовка малоэффективна, но заметна. Наташа врубает магнитофон, и в баре гремит марш. Он выжимает слезу. Славянские женщины прощаются с нами. К ним присоединяются тюркские, семито-хамитские и угро-финские. Минорный марш останавливает драку в зародыше. Марш осуществляет своеобразный аборт драки. Мы поднимаемся из-за стола, а я поднимаюсь со стопкой. Зачем-то я опять опрокидываю стопку водки вовнутрь. Стараюсь поджечь хворост безумия. И тут же снова рвотные позывы уносят в тесный туалет. И там слышны звуки “Прощания славянки”. Слышны женские радостные и одновременно похоронные крики, а в некоторых случаях даже плачи.

Выйдя на волю полутрупом, оказываюсь в шумной толкучке. Моих собутыльников обнимают в коридорчике и вручают на прощание цветы. Какие-то грузинские мимозы, что ли? Нас провожают и выпроваживают одновременно через служебную дверь во двор. Там темно и сыро. Кажется, что вот-вот пули засвистят в проводах. Только мутный неон над сиротской дверью секс-шопа. Чем они там торгуют, хотелось бы знать? Помню, в городе Балтиморе я отправился изучать достопримечательности, и первое, на что напоролся, оказалось переулком со шлюхами, наркоманами и магазинчиками, в витринах которых предлагали себя к продаже метровые члены с моторчиками... Но где тот Балтимор, и где теперь я?

В арке эхо перекачивается, но ничего в нем примечательного, кроме брани толстого Жени, не услышишь. Сейчас Паша опять с ним сцепится, но — нет, повезло Паше, поскольку восьмипудовый Злягин проваливается в низменность перед секс-шопом. Вход в магазин расположен на три ступеньки ниже уровня двора.

— Ну и черт с ним, — говорит Сека.

— Вот именно, — соглашаюсь я.

— Но мы, как русские офицеры... — пытается Серега.

— Молчать всем! — обрывает Паша. — Мы идем в “Циник”!

Арка ведет на Литейный, и проспект жарко серебрится впереди, несмотря на апрель. Мы шатаемся в сторону шума, и тени извиваются за

нами, а толстый Женя кричит из-под двери секс-шопа:

— Говнюки вы! Гады вы бездарные, а еще друзья! Вот я вас штыком исколю кроваво и гранатой разорву на мелкие кусочки! А тебя, Пашечка, друг любезный, особенно!...

Пить и блевать. Блевать и пить. Но уже и не блюется никак. Да и где? Тут очередь в сортир извивается от стойки бара. Некоторые пьют пиво, стоя в очереди, чтобы не обоссаться. Девки-первокурсницы, девки-второкурсницы, просто девки просто так и с умыслом. И стены кирпичные, и столы деревянные, и табуретки неудобные. Неудобно, а все равно толпятся здесь до упора. Потому что красота руинного типа. Потому что в динамиках поют матом. И чем еще остается петь, когда завтра-послезавтра, скоро на фронт...

Нас тут не начали еще уважать: не знают, не понимают, рано им еще. Девчонка наступает на ногу.

— Что же ты делаешь, милая? Больно, — говорю незлобиво, а она — датая, потная, вонючая французским и русским — отмахивается:

— От винта, дядя!

— Нас здесь не уважают, Паша, — говорю, протискиваясь к стойке. — Им плясать и трахаться, потому что мы...

— Вот и пусть! — Паша сосредоточенно считает деньги, прикидывает комбинации выпивок.

— И сухарики, — говорит курносый Усов.

— У меня двести за статью в “Часе пик”, — добавляет Сека в Пашину охапку, да и я перестая жмотиться.

— Пропьем и мои пятьсот, — объявляю, — теперь поздно жалеть!

Натюрморт вокруг чуть меняется.

— Францисканец лысый! Не наколол, мачо!

— Лучший писатель России!

— Лучший оральный писатель России!

Это появился трезвый Католик, сочинивший два года назад оральный текст типа роман и ставший знаменем студенческих подворотен, в которых орально, конечно же, проще. От популярности и упавших денег мачо повредился умом, принял обет и бросил пить.

— В честь праздника ставлю всем! Немцы пять тысяч марок на той неделе! Аванс!

“...Мать! мать! мать! мать! мать! мать! мать! мать!” — орет динамик

Какие — то бородатые мужики в папахх начинают брататься, а за ними в белой бурке Лев Лурье. Газыри и кожаные штаны. Мы когда-то, забыл когда, учились на истфаке университета, и кто бы мог подумать, что

ему так пойдет казачья красота.

— Что за дикая дивизия? — спрашиваю и жму руку. — Кавалерия, что ли? На подводный флот не похоже.

Лева морщится потому, что выпил еще меньше трехсот.

— Это фронтовая редакция “Коммерсанта”. Всего лишь.

— Знаю. Симонов. Хемингуэй... Думаешь, успеете хоть один номер выпустить?

— А ты никак пьян?

— Смотря как посмотреть.

— Как ни смотри.

Табачный дым ползет, словно “Smoke on the water”. И в нем столько чужих лиц, которые такими и останутся навсегда. Все так похоже на конец фильма, когда заиграла песня и побежали титры, то есть фильм кончился на фиг. Но он еще не кончился физически, его просто морально уже нет.

В просветах дыма падают фигурки, будто скошенные картечью валяются на пол.

— Ага! — кричу радостно. — Это драка! Это просто руки-ноги размять перед настоящим боем!

— Это хорошо, — скупно улыбается Сека. — Это поддерживает дух воинственности на должном уровне.

— Так если сейчас подраться, то, может быть, послезавтра не убьют? — радуюсь я и прыгаю в кучу малу, где сразу получаю ногой по зубам и успокаиваюсь. Но несильно. Несильно успокаиваюсь и несильно получаю. Могли б и убить, если б в детстве развивали конечности. Я-то тренировался, вкалывал, как папуас, и был даже чемпионом Советского Союза...

Красный, желтый и зеленый. Прожектора высвечивают махач посреди зала. Жуткое зрелище драки-сороконожки. И сорокаручки. Лопаются с причмоком пивные кружки, и хрустят коленные чашечки. Даже через музыку слышно. Но тут над стойкой бара чудеса неопишуемые. Плоская тень, словно вырезанная из черной бумаги. Она женщина в высоких сапогах и кожаных штанишках вроде. Прожектора зажигают ее. Сперва красным, затем желтым и зеленым. Изогнутый профиль, а на черепе гестаповская фуражка с высокой тульей. Словно вырезали из черной бумаги. Затем красная, после желтая и зеленая. А в руке гибкая кобра кнута. И этим кнутом, этой коброй она начинает колотить-молотить-метелить сороконожку драки, которая взвизгивает сперва, распадается на составные элементы, разбегается по местам и успокаивается на стульях.

Тут и Лысый Католик под руку с Пашей. И Усов с подносом, на котором не разбили ничего.

— Мы из-за водки дрались? — спрашиваю.

— Из-за водки с пивом, — мотает Паша головой.

— Водка, пиво и раки! — хлопает в ладоши Серега. — Раков не вижу.

— Они еще зимуют, — поясняет Лысый. Он молод для войны, потому теперь и трезв. Хотя денег море. Мне бы тоже вовремя роман сочинить про миньеты... Когда заходит речь о том, кому идти на войну, взятки не берут. И паписта не взяли, хотя он и не хотел... Я видел францисканцев в Штатах. Они на нашего Католика не похожи. Чем дольше оральный папист будет трезвым, тем сильнее после запьет. Это закон. Почти дарвинизм...

— Видели! Этому фраеру из “Фуза”! Тоже мне журнал для гуттаперчевых! — Паша еще не успокоился, хотя от удара кнутом поперек лица осталась лиловая полоса.

— А кто это с нами так быстро справился? — спрашиваю. — Что еще за леди Ди?

— Это изобретение бармена! — объясняет Католик. — Это он тетку из Франкфурта-на-Майне выписал. Супер-пупер садистка. Три ударами толпу разгоняет.

Потом время падает в небытие, и передо мною открывается главный закон мироздания. Его бы додумать до конца. Но сегодня проводы, а завтра война и возможный каюк. Хорошо бы умереть, поняв точно, зачем мы есть. Сперва есть, а после — нет...

И вовсе она не страшная — эта, в фашистской фуражке. В быту, скорее всего, милая домохозяйка, пекущая каждую пятницу яблочный пирог и ждущая, когда электрик положит глаз. Кофточка с рюшами, словно не из Франкфурта-на-Майне, а из Бийска-на-Бие.

— Как ты изменился, — говорит мне. — Это с одной стороны. А с другой стороны — совсем такой же.

Какой я? Каким я был? Каким я и остался? Я не знаю ее, а она меня — да. Я не знаю ее, а еще хуже себя. Какие-то нюни в сердце от происходящей жизни. Уже брезжит ее смысл, а если его нет? Нет смысла? Если нет смысла, то и нет бессмыслицы...

Она кладет голову мне на плечо и мурлычет.

— Теперь только ты и я, — повторяет несколько раз. — Ты и я. Мы приплыли, как Марко Поло. А тогда я всплыла, потому что обиделась на твои выкрутасы.

Кто такая — не ведаю. Хороша ли собой или нет — не знаю. Стегает мужиков кнутами, а теперь — нежная штучка.

— Что ж ты думал! Лишиться невинности — это ничего не значит? — проговаривает и заглядывает в глаза, словно в колодец. Наверное, думает, что дитя там утонуло. — Но теперь только ты и я, — повторяет.

И я зря перестаю думать о главном законе мира.

Затем закружилось и зашумело, и рвотный инстинкт подавлен, как Первая русская революция. Черный силуэт. После красное, желтое и зеленое. Серега плачет и, размазывая слезы по лицу, становится похожим на школьника.

— И никогда я не увижу более полет тополиного пуха. И полета шмеля.

— Не плачь, брат, — утешает его Лысый Францисканец. — То, что вы не досмотрели, досмотрим мы.

— Будьте так любезны...

Паша временно выбыл из бытия и глядит стеклянно, а Сека смотрит ястребом, нахохлился поднебесной птицей и говорит-плюется:

— Вермахт был, но не Эс-эс. Войны блеска смотрят за горизонт. А горизонт лучше всего виден, когда летишь на парашюте...

За соседним столом обнаруживается синюшный Флор — парень такой самого призывного возраста, лет пятидесяти. Когда все валили, и он повалил, стал даже австралийцем, как кенгуру. Но быть алкоголиком лучше всего в Питере. Ему и Париж не помог. Теперь он чуть дышащее ничто, но и его берут на фронт. Он протягивает мне рюмку текилы, реквизированную у студентов.

— Живые трупы, — говорю я и поднимаю текилу. — Живые трупы пьют. И жрут. Фильм ужасов не понарошку.

— Все-таки ты вмазал, — улыбается Флор своей синюшной гнилой башкой. — Я ждал и ждал и дождался.

— Милый, милый мой, — слышу за спиной.

Все. Пора тушить свет.

— Никогда не пил текилы, — говорю и начинаю, а Флор довольный, кивает мне:

— Счастливый.

Сперва все вспыхивает и вонзается болью. Так, наверное, на всем скаку падают на кактус. Потом появляется Чубайс с двойным подбородком и вырубает свет. Темно.

... Зачем включили, когда не просил? Сперва короткими вспышками. То потухнет, то погаснет. Потом совсем белое. Немного желтоватое. И бежевый свитерок. И гвоздик заколачивают в затылок. Что-то капает с лица. Хочется верить в кровь и в то, что все уже случилось, и сражение

выиграно или проиграно, и теперь я начну рассуждать раненный о небе, которого никогда не видел таким, никогда не думал о небе, дурак, и чей-нибудь генерал скажет, глядя на меня: вот, мол, красивая смерть... Но я не труп, я обманул происходящее, обманул, выздоровел, поумнел и так далее на двести пятьдесят страниц убористого текста...

Нет, это не поле брани, а сидячая ванна с душем наверху, из которого капает в темечко. Возможно, я уже в аду, но не очень похоже, хотя и рай таким не должен быть. Плевать, где я, но не плевать на время — можно ведь и опоздать на войну, проспять ее, как урок по математике.

Я выкарабкиваюсь из душа. Мне по-настоящему плохо. Восемь с половиной лет так плохо не было. Но угрызений совести нет. Она не грызет меня. Ее убила текила. О, боже! Текила! Текила была и все убила!... Я выдерживаю внутренний спазм и вываливаюсь из душа в узкий коридорчик. Вполне светло от лампочек, но я тут никогда не был. Возле входной двери висит зеркало, в котором я отражаюсь, но видеть себя противно. Зато под зеркалом, положив голову на телефонный аппарат и уютно пристроившись на пуфике, спит Паша. Выходит, что мы не погибли еще на войне и вся лажа впереди.

— Паша, — спрашиваю, — у тебя есть часы? Который час которого дня?

За спиной звуки. Они уже что-то значат в ушах. Звуки смысла. Я оборачиваюсь на них и наблюдаю картину, достойную кисти передвижника. Посреди широкой и пустынной залы на стуле сидит несколько бледноватый Серега. Глаза его закрыты, но на лице явственна полуулыбка, похожая на такую же, только без бороды, у Моны Лизы. Улыбка-тайна, улыбка-предощущение, улыбка-полуобещание, просто улыбка и вроде бы не улыбка совсем. Серега сидит на стуле, крепко привязанный к спинке веревкой, а по залу прохаживается и примеряется, словно токарь высокого разряда к железной болванке, эсэсовка. На ней уже виденные мной кожаные штанишки. Такой же лифчик, скрывающий (зачем скрывающий?) от Сереги сиськи. Она оборачивается, всматривается. В ее черных глазах холодный расчет. Просто и расчетливо она говорит:

— Вот и ты. Я ждала тебя до последнего. Теперь придется чуть-чуть повременить. Совсем немного. Сперва Сереженька, а потом ты. Все равно ты всегда для меня первый.

— Мадам, — проговариваю я и закашливаюсь. — За что вы нас хотите отстегать вашим кнутом?!

— Задаром, — отвечает она, и черты лица ее становятся мягче, щеки розовеют, некоторое смущение даже начинает читаться в линиях и тенях.

Она делает шаг назад, и в руках ее возникает бич, кнут, плеть — одним словом, что-то такое, производящее боль. Она отводит руку назад, но не бьет покуда, оборачивается и перед тем, как передать всю возможную страсть другому, произносит в мою сторону:

— Милый.

Глава вторая

Кино начали снимать в день похорон Дюши. Животастый Торопило носился по кладбищу, а за ним бегал человек с камерой. Тем временем Дюшу зарыли в землю, и священник произнес последние слова. Воткнутые в свежепосыпанный песок, весело горели свечи, а зелень на кладбищах и так всегда сочная и жизнеутверждающая. Солнце висело в небе и не хотело садиться. И народ не сразу разбрелся, устраиваясь в районе могилы выпить рюмку-другую. Тут уже легче стало говорить, и Торопило зацепил Артемия Троицкого, московского гостя. Они сели напротив могилы Майка. От Майка до Дюши десять метров по прямой. Троицкий стал заикаться в микрофон, а Торопило ему мешал рассуждать, я и сам что-то сказал о поколении, затем прошелся с Торопилой по кладбищенской дорожке перед камерой. После в умирающем Рок-клубе на улице Рубинштейна произошла продолжительная пьянка под названием поминки, а на следующий день позвонил режиссер Леша Лебедев и снова уговорил поработать над фильмом...

Целый год я промыкался по больницам и понял главное: если б попался в гестапо, то выдал бы военную тайну после первой же пытки. Сперва Мариинская больница для бедных, где по гулким коридорам краснорожие от мороза санитары катали мертвых старушек. Но тогда еще было почти весело выходить на Литейный, покупать в “Букинисте” неактуальные книги задешево, встречать знакомых, чувствуя себя выздоравливающим, пустозвонить про кайф жизни, говоря об удаче случившегося (“Не триппер ведь! В моем возрасте пора уже иметь респектабельную болезнь!”), и о том, как хорошо ко всему прочему иметь койко-место поблизости от Невской перспективы... Но после Мариинки стало хуже. Как-то еще отпраздновался Новый год. К русскому Рождеству зашатались и выпали два передних зуба и заболели ноги. Сильнее всего они болели по ночам, горели, словно обожженные кипятком. Я выходил в полночь и бежал хромой трусцой до трамвайного парка, и боль проходила. Возвращался и ложился — боль начиналась снова. Выходил и бежал и в три ночи, и в шесть утра... Второй раз Мариинка оказалась кошмаром. Но не только для меня — и это странным образом утешало. Как-то ночью в курилке, предварявшей вход в больничные сортиры, я мыкал бессонное время. Вдруг распахнулась дверь, и от унитаза шагнул здоровенный пузатый мужчина, лицом и усами похожий на Чапаева, а торсом на Тараса

Бульбу. Голова его была обвязана полотенцем. В вытянутой руке Тарас Чапаев держал деревянный стульчак, который из-за головных болей, видимо, забыл поставить к стене. Так со стульчаком и пошел по темному коридору...

Фигня моя называлась острая полиневропатия и ничем не лечилась. В популярной литературе говорилось: следует терпеть шесть — восемь месяцев, затем начнет проходить. Но терпеть было трудно, и ближе к весне я отправился лечиться в Озерки. Оттуда до Невского далековато, зато здание имело почти цивилизный вид, а на первом этаже работало кафе, куда я, еле передвигая ноги, таскался каждый день, нащупывая ослабшую связь с жизнью.

Волочусь как-то, а за спиной:

— Владимир, — слышу на слабом выдохе.

Оборачиваюсь и узнаю сразу:

— Эх, — говорю, — и ты здесь, Женя!

Он держится за сердце и каждую минуту глотает пилюли, а я держусь за стену. Но мы еще держимся. Сидим в кафе, потому что спешить некуда. Последний раз мы виделись мельком две пятилетки назад. Было время, жили рядом и дружили, любили битлов и роллингов. Когда я продавал коллекцию, Женя купил у меня несколько раритетов типа “Beetwen the button” в английском издании. Я все продал, все юношеские грезы в пользу образовавшейся семьи, а через пару лет нашел в диване виниловый “Electric ladyland” Хендрикса и поехал с ним по проспекту Луначарского, прямому, как гитарный гриф, к Жене, жившему тогда напротив Сосновского леса. И был день. И была белая ночь. И пришло время совершить глиссандо по проспекту домой, но почти не оставалось трезвых сил. Замечаю каток и нескольких мужиков в оранжевых жилетах. Они лениво бросают асфальт в дырки на проспекте. Ночные труженики, бедняжки.

— Люди! — обращаюсь я к народу и начинаю импровизировать, как Джимми. — Подвезите до дома!

— А? Что такое? — заволновались дорожные рабочие.

— Ну не знаю! На пол-литра даю!

Рабочие тут же побросали лопаты, один из них сел за руль, а меня пригласил устроиться рядом. Каток катил со скоростью пять километров в час. Оранжевые жилеты, боясь профукать водку и не доверяя, похоже, водиле, семенили за катком, словно почетные факельщики не от слова “fuck”, а от слова факел. Я пел песни с “двойника” Хендрикса, поставив ногу в ведро с соляжкой. Каток катил по проспекту, и на востоке всходило

красное солнце, и счастье продолжалось навсегда...

— Хирург говорит, что надо пороть, — говорит Женя, — то есть резать, то есть оперировать.

— Резать сердце, — качаю головой.

— Коронарное шунтирование.

— Как Ельцина.

— Три месяца протяну, сказали. Теперь надо собрать денег на операцию.

У Жени красивое лицо незлого человека и борода, как когда-то в юности. И у меня борода, как тогда. Мы тут в больнице словно братья или моджахеды, похожие друг на друга молодостью, которая, не хочется верить, что прошла.

Тем временем жена окончательно свихнулась, а ведь, когда познакомились, находилась в своем уме. Но все-таки не в моем. Пятнадцать лет назад почти. Но тогда имелась девятиметровая комнатка с видом на разлагающуюся помойку, и от благоприобретенного пейзажа можно было скрыться, только спрятавшись под одеялом, а такое укрывательство лечит безумие в зародыше у мужчин и женщин, когда они together.

Потом социализм зашатался, но упал не сразу. Сперва мне дали квартиру как официальному писателю, вступившему в творческий союз. Перед тем я выпустил первую книгу повестей и рассказов “Третий закон Ньютона” и подал заявление. Приятель-прозаик Валера Суров говорил:

— Это все равно что майором стать. Нет! Полковником!

Полковником или нет, но на гребне эйфории я попал в историю. В ней я японским ударом ноги вышиб хулигана вместе с дверью одного нефешенебельного ресторана, а заодно отмахнулся от набежавшего сзади. Набевший оказался нетрезвым милиционером из компании вышибленного хулигана, и дело закончилось отделением, где всякий мент всегда прав. Но меня отпустили, выписав повестку на административную комиссию.

Жена ходила беременная с круглым животом и ничего не знала. Тогда же я первый раз в жизни получил халявную путевку в Дом творчества Комарово, куда и отправился на две недели с позволения беременной. Считалось, что после родов мне будет сложно творить, и следовало воспользоваться предоставленной возможностью. Один знакомый опер, специалист по расчлененным трупам и поэт Валера Гаврилов обещал отмазать, куда-то позвонил и сказал: все, мол, о’кей, договорился, придешь, получишь небольшой штраф, ерунда, а не проблема...

Устроившись в номере Дома творчества, я успел разложить на

письменном столе чистые листы бумаги, карандаши и авторучку, прогуляться по разыгравшейся весне и подышать хвойным сырым воздухом курортного вечера; успел переночевать и проснуться, надеть костюм и рубашку с галстуком и респектабельный плащ; успел доехать на электричке до города, а затем на метро до нужной остановки. Вот и все, что удалось...

Офицер порылся в стопке бумаг, достал паспорт с приколотыми к нему листками, пробежал взглядом протокол, взглянул на меня уже осмысленно, как бы узнавая, узаконивая на мне производственный ярлык, и сказал вдруг мягко и почти по-родственному:

— Подождите в комнате. Посидите. Скоро поедем.

В комнате находился еще мужчина — кашляющий, хмурый верзила с бугристым, красным лицом.

Скоро действительно поехали. О будущем я не имел ни малейшего представления. На милицейском “козле” довели до районного ГУВД — просторного здания, окруженного сквером, и меня охватил неожиданно панический стыд: не дай бог нарваться на знакомых! Но народ спешил мимо, не глядя по сторонам.

Прошли в квадратную комнату с рядами фанерных кресел и решетками на окнах. В комнате сидело несколько карикатурных харь, серо-буро-малиновых. Из рамы на административных нарушителей смотрел Феликс Эдмундович, думая, как, мол, измельчала контрреволюция. Розовощекий сержант стоял в дверях и вовсе не походил на охрану, но это уже начиналась несвобода. Скрипнув на повороте ботинками, в комнату почти вбежал коренастый мужчина с залысинами над морщинистым лбом и в мятом, плохо сидящем костюме. Взглядом он словно сфотографировал сидящих, и стало понятно, что это судья. Он бросил на стол потертый кейс, щелкнул замками, сел за стол, став еще меньше. Сержант положил перед судьей стопку паспортов и протоколов. Судья брезгливо порылся в стопке, взял один из паспортов, протокол и произнес:

— Рекшан. Владимир Ольгердович.

Я встал, не зная, как должно вести себя.

Судья пробежал глазами протокол, перевел взгляд на меня, оценивая рост, галстук и плащ.

— Кем работаешь? — спросил.

— Что? — Я не понял вопроса.

— Кем работаешь?

Я глупо улыбнулся, мгновенно осознав глупость улыбки и глупость гвардейского роста в этой комнате.

— Кем работаешь? — еще раз спросил судья и поморщился.

— Писателем, — ответил я, стараясь напомнить правосудию о предупредительном звонке опера Гаврилова.

Судья замер. Он понял, кажется, “писателем” как издевку. Он молчал бесконечные три секунды, потом впечатал ладонь в стопку протоколов и сказал, как отрубил голову:

— Пятнадцать суток...

Следующие две недели вместо Дома творчества я провел на кошмарных говноочистительных работах, где первые дни, кутаясь в респектабельный плащ, черпаком на длинной ручке выковыривал гнилую жижу из подземной трубы мыловаренного завода. Потом удалось позвонить, и брат принес ватник. Потом жена с животом встречала возле ворот административной тюрьмы на улице Каляева. Предродовое лицо, словно манная каша. И авоська в руке с батонами...

С работы везли в тюрьму часов в пять. В этот час обычно подтягивался народ в ресторан Дома писателей на Шпалерной, располагавшийся в трех сотнях метров от тюрьмы, и несколько раз мне приходилось прятаться: автобус останавливался на красный свет, и проходившие знакомые могли увидеть. Тут уже речь шла не о стыде. Мое заявление имело ход, и, пока я сидел на “сутках”, его рассматривали, приняв положительное решение в двух инстанциях. Предстояло пройти еще две. Если б узнали про арест, то не видеть бы мне квартиры, как Мэрилин Монро.

Вышел я на свободу посвежевшим на физической работе, знающим, как проносить в камеру сигареты и где прятать хлеб, спавшим на “вертолете”, вкусившим “хряпа” и “могилы”. Судья дал мне вышку. А дал он мне ее за гордую осанку и потому, что гад Гаврилов позвонил куда-то не туда. Жена родила в срок сына, который вырос будь здоров, имеет двойку по геометрии и начинает хамить...

Пока падал социализм, я успел получить двухкомнатную квартиру на Московском проспекте. Теперь бы за нее пришлось платить мешок баксов. Если б вышла заминка с приемом, то... Лучше не задумываться.

Социализм рухнул, и из полковников всех сразу разжаловали в рядовые. Но квартира осталась. От полноты счастья жена сломала замок на входной двери, а внутренние двери оторвала с мясом.

— Как же жить без дверей? — спросил я, еще не ругаясь матом.

— Просто! — воскликнула жена, еще не ругаясь матом тоже. — Будут новые и прекрасные двери!

— Эти тоже были ничего.

— Сравнил жопу с пальцем!

Затем я полетел в Штаты, а жена полетела в ЮАР. В Штатах я бросил пить водку, а в ЮАР жена испугала до смерти львов. Затем она в Индии ела рахат-лукум и отравилась. После разругалась в Штатах (уже матом) с теткой-менеджером, а в заключение злоключений поселилась с сыном в Париже под крышей дома с винтовой лестницы. А квартира продолжала оставаться без дверей. Так прошло почти десять лет. На досуге я красил стены в гнездышке кривой кисточкой, вызывая потоки брани и оскорблений, что уже с трудом можно было квалифицировать как сквалыжность, скорее это было тяжелое бытовое умопомешательство.

— Дорогая, в наше тяжелое и неустойчивое время, когда покупательская способность населения, то есть меня, позорна низка, а потребительские цены на двери, например, недоступны, имеет смысл придерживаться позиции устойчивого консерватизма и не делать вообще ничего.

— Урод ты и ублюдок, козел и садист. Закрой свой вонючий рот! Твоя старшая дочь рассказывала мне, как ты бил ее головой о стенку. Мать, мать, мать, мать!...

— Но, может быть, дорогая...

— Урод ты и ублюдок, козел и садист! Закрой свой вонючий рот! Ничего с тобой быть не может! Пришлось от тебя даже — мать, мать, мать, мать! — убежать в Париж!

Теперь уже и я матерюсь басом, и мы деремся до моей первой крови.

Когда я в третий раз собрался в больницу, мне уже все было по фигу. Какие-то мужики в грязной обуви бродили по квартире, измеряли углы и торговались с женой. Затем жена стала таскать мешки с цементом, мужики задвигали шкафы, а я отправился страдать.

До меня доносились слухи. Приезжал брат и только мотал головой и восторженно вскрикивал. На выходные с отделения почти всех пациентов отправляли на побывку домой, и я тоскливо, опираясь о стены, таскался по пустым коридорам — навстречу брели слепые старухи с нечесаными волосами, а безногая тетка подкарауливала и бесшумно выкатывалась на меня из-за угла в инвалидной коляске. Судьба предлагала подобную участь, и жизнь стала похожа на дешевый триллер или даже на фильм ужасов. Потом по дороге в буфет повстречался Женя, и стало легче. Ему предстояла операция на сердце, и он боялся, не подавая вида.

— Ничего. Разрежут и зашьют. Будешь как новенький. А я неизлечим, как русская история.

Весна, однако, созрела, и солнце перестало жмотиться. Сын, дочь, брат, жена. В разных комбинациях они появлялись и разговаривали. Жена

приехала с ведром супа и роняла слезу, глядя на мое шатающееся прямохождение, а когда я неуклюже пошутил по поводу происходящего за пределами моего сознания ремонта, вдруг задержала плечами и проговорила слова, полные психоневрологической правды:

— Как я тебя ненавижу!

Где— то через неделю я заявил брату:

— Все, Александр. Увози меня отсюда.

Сперва брат пробормотал непонятное, а после просто произнес:

— Я тебе не советую. Задержись здесь еще — на сколько можешь.

— Ни насколько не могу.

Прошла еще неделя, и мы поехали.

К больнице привыкаешь и даже начинаешь любить за то, что она такая же, как ты, а мир за воротами другой. Брат погнал машину на юг, и я смотрел в окно на Петербург глазами марсианина. На Московском проспекте мы заехали во двор, и я ступил отечными ногами на заасфальтированную территорию здорового мира. Возле парадной высилась куча мусора, и в ней узнавались некоторые приметы моего еще недавнего быта — пара стульев и чугунная ванна. “Зачем же она ванну-то выломала?” — подумалось вяло. С помощью брата я поднялся на второй этаж.

За дверью мужик в экстазе крушил отбойным молотом стену. Казалось, он добывает уголь, чтобы стать передовиком. Пыль стояла столбом, и я в нее протиснулся, обнаружив двоих молодцов, мотавших, словно фронтовые радисты, провода. Тут же возникла невысокая кабардино-балкарская женщина с ведерком краски и полезла на стену. За женщиной, растолкав мужчин, выбежала жена, обняла, повисла на шее, чмокнула в щеку губами, покрытыми олифой, выпалила:

— Дорогой! Наконец-то! Посмотри, какая прелесть!

Посреди одной из комнат лежали мои трусы-носки, шерстяное пальто, купленное в Париже, всякие бумаги, которые уже нельзя было назвать литературными произведениями, лежала гитара. Все это добро покрывал слой пыли. Стало ясно: от меня на белом свете почти ничего не осталось. Жена вернулась за компьютер писать письмо турецкому султану, а я лег на обломки дивана и осознал себя пустым местом... Кроме ванны, оказался выломанным и унитаз. Жена с сыном уезжали на ночь к такой же сумасшедшей подружке, содержавшей за отсутствием мужа восемнадцать котов и кошек, а я наконец оставался один, мочился в пластиковую бутылку, курил и, можно сказать, плакал.

С утра появлялся какой-нибудь Толя или Петя, и жена говорила им

снисходительно:

— Вашу мать, вашу мать, вашу мать, вашу мать!

Они же что-то такое вкручивали насчет невозможности построить итальянский палаццо в старом “сталинском” доме, о подгонках и притирках и иногда исчезали, запивали, не выдержав пассионарной привередливости.

На третий день я вдруг понял: в доме нет книжного шкафа, других разных мебельных принадлежностей, а из кухни исчезли шкафчики, за которые я однажды уплатил во много раз больше, чем они стоили.

— ?

— С книжным шкафом я, возможно, и погорячилась. А все остальное... Да иди ты в жопу! Что я должна перед тобой отчитываться!

Все проходит. И это прошло. Кажется таким мелким, когда знаешь, что завтра идти на войну.

К лету вдруг полегчало, и в день пятидесятилетия я смог даже поболтаться по улице, пока дочь, сын, жена, брат пили чай с мармеладом. В середине июня приехали американские деды, и мы с Дюшей пели песни в деревне Переккюля для дедов и пациентов-алкоголиков. Холодные тучи ползли поливать дождем, и с моря тянуло холодным сквозняком, но посреди песнопений они вдруг изнемогли, остановились, зашевелились, и на небе загорелось веселое белое солнце. А затем Дюша умер. Перед выступлением в кинотеатре “Спартак”. В бывшем кинотеатре, где теперь клуб и пиво, перед выступлением стал настраивать гитару и — упал, сердце больше не билось. Концерт, конечно, отменили, а бандиты хозяева после недоумевали: “Оттащили б его куда-нибудь в сторонку. Было кому еще на сцену выйти. А так мы на бабки попали!”

Тут снова кино и началось. Российское телевидение заказало фильм про ленинградско-петербургский рок-н-ролл, и я сперва соглашался сочинять сценарий, после отказывался, теперь снова согласился, все равно считая, что эти песни спеты, мы свои буржуазно-демократические задачи выполнили, что не музыка это вовсе была, а смысл, что история закончилась и занавес опущен, но еще живут люди и путают молодежь своим постоянным присутствием. БГ, Шевчук, Кинчев, Бутусов, еще несколько штук героев... Москва про них и хотела. И еще им был нужен труп Цоя. Я предложил снять Гребня в китайском халате, раскладывающего пасьянс, Юру запустить в джакузи, с остальными проделать схожие фокусы, но звезды могли отказаться. После я предложил “Прогулки с Ленноном”, переиначивая известное сочинение Абрама Терца. Однако вышло говенно-элитарно...

Но жизнь наша не была говенной. Ее и элитарной не назвать. Ее сравнить можно... да-да, сравнить! сравнить со своеобразным религиозным движением. Вот именно! Так и было! Сперва катакомбный период, когда молодые пророки с гитарами на подпольных сценах и вокруг каждого сотня-другая прихожан, следующая за пророком из одного зальчика в другой. Ленивые гонения властей и первые мученики. Затем рок-н-ролл сломал социализм и стал не нужен в воровской Московии. Почти всех смыло, остались лишь те, кого цунами революции забросило выше всех, ходят теперь в золотых ризах...

Вторую съемку провели в ДК Ленсовета за кулисами сборного концерта. Торопило снова взялся брать интервью и, как водится, никому не дал говорить. Раздобрившего БГ посадили в зимнем саду под пальмой. Предполагалось, дерево станет олицетворять жизненный успех. Боря закурил, а Торопило начал:

— Помнишь в юности, когда все было иначе, когда на знаменах было начертано “Секс. Драгз. Рок-н-ролл”, теперь замененное властью на “Порно. Героин. Попса”, тогда я сделал столько выдающегося, записав вас всех, создал своеобразные евангелия...

Животастый Торопило с жидкой бородкой сидел рядом с БГ и говорил о своем величии в вопросительной форме.

— ...Ведь так?

— Да, — оставалось соглашаться Гребенщикову.

Почти то же самое получилось с Бутусовым, заробевшим перед неугомонным Тропиллой-Торопилой, а Шевчук не поддался, пресек аномалии в самом начале и навещал красивых слов о революции любви, о нашей и своей юности, о том, что:

— Была ночь! Горели костры. И это небо светилось над головой. Мы уже ощущали дух нового времени...

Еще через пару недель матерая Дюшина вдова Анна провела в том же Ленсовета концерт в честь дня рождения умершего мужа. Ее практические мотивы были понятны, как арифметика, но все, естественно, согласились. Перед тем я позвонил Никитку и предложил:

— Давай-ка сбцаем! И для удовольствия, и для кино. У меня же хроника есть, где мы в семьдесят третьем наяриваем со страшной силой. Ты там еще школьник с челкой... Я попрошу оператора снять с того же угла, а потом смонтируем старую хронику с новой.

— Я всю ночь кровью блевал, — вяло отвечает друг. — Отравился чем-то. Может, и пройдет. Юра вон тоже звал, и мне надо б с ДДТ выйти. А какие песни играть станем?

— Да какие песни! Перед выходом в гримерке напомним.

— А еще кто на сцене?

— Еще на сцене Жак. Играем включенную акустику.

— А Коля? Как он там поживает?

— Не видел давно. С барабанами играть — долгая история.

Через несколько дней мы встречаемся за кулисами концерта в честь дня рождения умершего Дюши. Никиток выглядит отдохнувшим и помолодевшим.

— Ну что, — спрашиваю, — оклемался? Выглядишь как пасхальное яичко.

— Ничего вроде, — отвечает Никиток, достает скрипку, и мы выходим на сцену. И еще Жак с нами — здоровенный дядька, пахнущий моторным маслом. Мы играем на удивление классно и слаженно, потому что я песни свои еще помню, а Никиток — несомненный мелодический гений, а Жак всегда в жилу, если выучил аккорды, а аккорды простые, и он их знает назубок. Зал колотит в ладоши, а я думаю, что такому б проекту, как теперь говорят глобалисты, хорошего директора и денег, и тогда... Что тогда? Слава и мешки злата? А на фига?... Никиток убегает в гримерку к ДДТ, а на меня за кулисами выруливает круглая тетя и говорит про Италию, про то, как меня надо везти в Сорренто, где я стану петь песни басом за деньги...

Через день я смотрел на студии отснятую пленку и плевался, поскольку оператор самовыражался и запечатлел в основном оригинальные кадры, на которых мой нос соседствовал с пальцами играющего на скрипке Никитка. Или локоть Жака и гриф гитары... Общих планов почти не оказалось, а ведь хотелось не киноискусства, а просто сняться, как двадцать семь лет назад.

Никиток звонил и спрашивал:

— Что за тетя прибегала?

— Из Италии. Хочет нас туда вести за деньги.

— Итальянка, что ли?

— Наша, но из Италии! Ничего, скоро уговорю тебя бросить ДДТ, станем... Станем кем-нибудь.

— Я тут кое-что написал. Как бы тебе показать. Типа стихи и как бы роман.

— Просто. Встретимся, когда будешь готов, и покажешь.

— Договорились! — заканчивает Никиток с энтузиазмом. — Жди звонка! Скоро встретимся.

Три недели прошло. Звонок состоялся, и мы встретились. Это Коля

позвонил и противоестественно высоким голосом прокричал:

— Знаешь? Ты знаешь? Ты еще не знаешь? Три часа назад Никиток умер.

— Вот тебе и кино, — сказал я. — Снимаем, как на фронте. Бог распорядился нам на сцене попрощаться перед разлукой.

Жизнь личности — это целый сплав людей и событий. Никиток был частью моего сплава. Выходит, еще на чуть-чуть меня стало меньше. Сперва Никитка отпели в церкви на улице Пестеля, а после зарыли в землю на Охтинском кладбище прямо возле ограды. Пронзительное небо предупреждало про близкий сентябрь, пыль рыжела на тополях, машины весело катились по проспекту. Во мне снова зашевелились странные слова. Даже не слова, а ощущения слов, не оформленных в буквы. Экзистенциально преэксистенциальные, наверное. Человек все равно не верит в свою смертность. Он согласен с тем, что исчезнет тело, но личность останется. А что такое личность? Личность — это память. Когда ты помнишь про первую двойку по математике и свой тогдашний страх, ты есть. И остальное не важно. Можно придумать рай и ад, реинкарнации, царство теней и светлое будущее детей, в чьей памяти ты живешь. Главное — не исчезнуть в Лимбе, не кануть в забвение, словно топор в проруби.

Жена решила стать дипломатом.

— Тебя отправят послом в Папуа, — сказал я. — Будешь там десять лет вручать верительные грамоты. Так и состаришься.

— Ничего. Ничего-ничего! Пусть только попробуют! Через месяц Россия разорвет с ними дипломатические отношения, и меня отзовут домой.

— Ага! А меня заберут воевать с папуасами. — Тогда я впервые заговорил про войну, а жена ответила снисходительно:

— А ты еще можешь? На войну?

— Если к “максиму” привязать, то полчаса продержусь.

— Тридцати минут может не хватить, — подвела итог жена и укатила в Париж учиться в дипломатической школе. Мы остались с сыном в недоделанном палаццо, похожем на Рим после посещения его Атиллой, который дипломатических школ не заканчивал, но с задачами международного общения справлялся вполне успешно.

Возрастной цинизм — результат естественных биологических событий. Мне ведь уже удалось выполнить предназначение и несколько яйцеклеток оплодотворить. Но чистый биологизм никого не устраивает. А душа? Наша бессмертная душа? Любовный акт в человеческом понимании — это не оплодотворение, а соитие. Эстетика соития составляет фундамент

всякой национальной культуры. Накануне по телевизору показали когда-то нашумевший франко-японский фильм “Империя чувств”, в котором актеры Мацуда и Фудзи находятся в состоянии перманентного соития, в то время как Япония готовится к мировой войне. Соитие тоже в определенном смысле война, требующая на алтарь жертв. Но все-таки не война. Любить-то я любил, а вот на войне не был. И в армии толком не служил, хотя и пробыл там рядовым год после университета.

Тогдашняя жена сказала, не просыпаясь:

— Пока, — и я пошел служить.

Дошагал до Невского, где возле лютеранской церкви находился военкомат. Возле него стояло с дюжину стриженных молодцев с рюкзаками. Вокруг них крутились мамки и молодницы, а я был один. У моего одиночества имелась причина. Я шел в армию не как провалившийся абитуриент, а в преклонном возрасте — в двадцать шесть. У меня имелась договоренность о халяве с краснорожим капитаном Костыгиным: капитан возглавлял в одной из частей ПВО спортивный клуб, и я был нужен ему как мастер спорта по легкой атлетике. С моей помощью ему легче отчитаться о проделанной работе и стать майором. Тайные переговоры с Костыгиным шли год и увенчались успехом. В принципе на меня претендовал Спортивный клуб армии, но тамошние офицеры не знали о том, что у меня заканчивалась отсрочка. В СКА существовала спорттрота, и армейские атлеты жили вольно, но все-таки в казарме, а ПВО обещало отпустить домой и вызывать только на соревнования.

Хотя и короткая, но армия для меня началась тупо и безжалостно. Первую часть своей молодости я видел комсомол издалека. Будучи уже в школьном возрасте всевозможным чемпионом, я имел возможность проявить своеволие и с ученической толпой в комсомол не пошел, заявив удивленным учителям о своей идеологической неподготовленности, но в последний момент, предполагая поступать на истфак университета, каким-то блатным способом комсомольцем стал, только ни разу затем на комсомольских собраниях не был и взносов не платил и посему красную комсомольскую книжечку с собой в солдатчину не взял.

Когда нас на электричке довели до поселка Ваганово, что совсем рядом с Ладожским озером и где находилась воинская часть, то сразу же выстроили на плацу. Зычные командиры, похохатывая, прошлись вдоль шеренги новобранцев и стали делить на этнически-социальные группы. Один из офицеров приказал некомсомольцам выйти из строя. Всего оказалось человек десять таджиков и эстонцев. И я с ними.

— Всем курить, а этих — расстрелять! — скомандовал командир, а

офицеры засмеялись.

Но приказ оказался шуточным. Зато со следующего утра началась полная глупость.

— Рота! Подъем!

Что— то падает, звякает, гремит. Звенит и даже воет. Я уже жду пробуждения со страхом, поскольку после него мы бегаем по несколько километров несколько раз. Только бегаем и бегаем. Провалившиеся абитуриенты падают бесчувственно в лопухи, а по ночам хрипят во сне и зовут маму. Я и сам чуть живой, хотя самая кровь с самым молоком, мастер спорта в расцвете сил и пусть не олимпийская уже надежда, но не дурак покуда, чтобы понять антинаучный характер физической подготовки в ПВО. Правильно -когда постепенно и разнообразно, а у нас — полная жопа!...

— Рота! Бегом! Арш!

Сперва стучим сапогами по плацу, потом по тропинкам в сторону просеки. Или это аллея такая несостоявшихся героев.

Двое сержантов, стриженных мальчиков лет девятнадцати, стопроцентно охреневших после спецшкол, бегут возле новобранцев, задавая темп. Они, гады, бегать научились. Мозги им отшибли — для ног только лучше. Старший из мучителей, альбинос с глазами кролика, названный народом Крохой за невыразительный рост, тормозит у одного конца просеки-аллеи, а его гад напарник, черный чечен Башка, бежит с нами туда, где аллея-просека заканчивается. Сержанты и сами озверели от беготни. Они решают погонять нас по аллее туда-сюда. И солнце тем временем совсем проснулось, уставилось на нас удивленно. Мир ленив вокруг, даже птахи не поют. Только мы, новобранцы, да комары.

Мне все— таки двадцать шесть, и я профи, а тут пропадают малолетки. Среди них еще пловец-мастер и эстонец-штангист на коротких ножках...

— Мужики! — еле кричу им. — Становитесь рядом!

Штангист и пловец понимают. Мы бежим на альбиноса, то есть почти не бежим. Просто высоко поднимаем ноги, а абитуриенты за нашими спинами приходят в чувство. Мимо альбиноса мы пробегаем как надо и, оказавшись на прямой по направлению к чечену, повторяем трюк. Хитрость, конечно, помогает, но все равно от такой физподготовки можно отбросить копыта.

Дней через пять я не выдерживаю и говорю альбиносу:

— Товарищ сержант, давайте попробуем эстафету.

— А как это? — недоверчиво реагирует Кроха.

— Очень просто, — отвечаю и объясняю принципы, которые просты и очевидны, как олимпийские идеалы Кубертена.

Разговор происходит на стадионе воинской части. Его неровная плоскость с вытоптанной травой не похожа на античный пейзаж, но мое красноречие, испуганное неотвратимо приближающимся кроссом, стремительно, словно речь Перикла. Оно заряжено шестью годами обучения на историческом факультете. Почти мертвые новобранцы лежат на земле, и я стараюсь спасти их молодые жизни. Командирская враждебность Крохи и Башки дает слабину, и Кроха соглашается.

— Покажи как, — говорит он.

Я нахожу несколько прутьев, обдираю с них листики и объясняю:

— Это будут эстафетные палочки. Всего пять дорожек. Эстафета называется “четыре по сто метров”. Значит, в эстафете участвует двадцать человек. В олимпийской программе это самое главное, престижное, захватывающее соревнование. Сильнее всех американцы, но и мы ничего.

— Наша противовоздушная оборона америкашек всегда убить, — делает злое лицо чечен Башка, а альбинос уже увлекся и просит:

— Рядовой... Как тебя?

— Рекшан.

— Рядовой Рекшан, расставьте бойцов.

Время, рассчитанное на муку многокилометрового кросса, медленно потекло. Я развожу полудохлых абитуриентов по дорожкам, стараясь на глазок соблюсти справедливость. Поскольку каждая следующая дорожка по диаметру длиннее предыдущей, то стартующего следует поставить по своеобразной лесенке. Но с геометрической правдой не согласны сержанты.

— Э! Ты что дэлаешь! — возникает Башка. — Нэ чесно!

— Отставить! — приказывает Кроха. — Ставить всех по линии.

— Но, товарищи сержанты, — пытаюсь я безуспешно объяснить геометрию.

— Победители награждаются походом в солдатскую чайную! — заявляет альбинос перед стартом.

Дохлые абитуриенты оживают, в их лицах начинает угадываться интерес к происходящему. В чайной можно купить пирожки. Мамина мелочь еще звенит по карманам, а от жути солдатской кухни еще с непривычки воротит.

Мне выпадает бежать по дальней дорожке на последнем этапе.

— Бэги! — завопил чечен, и абитуриенты рванули, замолотили сапогами, поднимая пыль.

Когда эстафетный прутик оказывается в моих руках, пловец уже впереди метров на двадцать. За ним эстонец на коротких ножках. Все впереди меня, потому что такова геометрия Эвклида. Ее уважали Перикл и Софокл. А Башка и Кроха — нет. Но ни фига, думаю я, включая скорость и всю волю профессионала, — ее я тренировал с одиннадцати лет; я знаю правильность механики ног и тазобедренного сустава; малолеткой я смотрел кино про олимпиаду в Риме и восхищался стартом Армина Хари, а когда смотрел олимпиаду в Токио, то восхищался Бобом Хейсом; я изучал кинограммы великих и старался так же; я видел вблизи лучших наших и старался, старался, старался годы и годы для того, чтобы сейчас, блин, обогнать всех на глазах двадцатилетних сержантов и купить себе булочек с изюмом...

Это была моя лучшая скорость в жизни. Я упал за финишем на полшага впереди пловца.

— Эка! Теперь понятно! — обрадовался Кроха. — Мне нравится. Можно повторить. Первый раз не считается.

— Не считается? — Сопротивляться не хотелось, и не имело смысла. — Но вы же видели. Дальняя дорожка длиннее. Надо поставить стартующих правильно, лесенкой.

— Нэт! Нэ чесно! — нахмурился Башка, а Кроха приказал:

— Слушай меня! Ставить всех по линии!

Я поставил. Я вспомнил про олимпийские идеалы и воспитанное мужество, про то, как великий Анатолий Михайлов бежал сто десять метров с барьерами на матче с американцами. И выиграл. Никто до этого у американцев не выигрывал, а он их всех победил, Давенпорта, кажется, и еще кого-то из великих. И стадион кричал. А Михайлов был счастлив. Но американцы пожаловались, будто кто-то чем-то кому-то из них на старте помешал. И судьи стали думать и придумали аннулировать результат забега и объявить новый. Тогда была холодная война, и каждое лето СССР и США соревновались в легкой атлетике на “Матче гигантов”. Это всегда получалось событие сезона, и имена победителей повторялись с почтением. Нет войны, нет матчей, а героев забыли... А в тот раз Михайлов побежал снова и снова победил. А я с ним тренировался рядом несколько лет...

— Ладно, хрен с вами, — сказал я негромко и пошел побеждать...

Глава третья

Так часто случается в апреле: сперва солнышко благосклонно и обнадеживающий южный бриз, затем небо затягивает, и начинают наступать холодные массы воздуха из Лапландии, может даже закружить метель. Но скоро пространство снова расслабляется, и теплая нежность овладевает миром...

Так и четырнадцатого утром, когда я собрался идти на войну, чтобы не окопаться в окопах, я решил надеть куртку “Schott” с пристяжной подкладкой, а на смену прихватил дачный ватник. Теленовости молчали, но по городу прошел слух, что фронт рухнул под Псковом и теперь срочно выравнивают линию на сто километров севернее. Туда и бросят самых старых и немощных.

Пью остывший кофе большими глотками и прислушиваюсь: нет, Колюню с первого этажа не слышно. Он горланил песни трое суток, ругался с женой, требовал шампанского, грозился всех взорвать, пару раз ломился ко мне, выпрашивая денег в долг. “Какой долг, Коля, нас всех перебьют. Могут перебить”. — “Вот именно, тогда дай сто”. Вчера к ночи он затих, и теперь не слышно. Мы призваны в Адмиралтейский сводный пехотный полк и обязаны в девять явиться на сборный пункт к Витебскому вокзалу. Впрочем, плевать на Колюню... Я смотрю на часы и нервно прохаживаюсь по квартире. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ремонт не закончен. Его невозможно закончить никогда, поэтому не стоило и начинать. Война остановила новые поползновения жены, и та, поплавав то ли над моей скорой судьбой, то ли над тем, что не удалось счастье выкорчевать на кухне оставшиеся трубы, умчалась в Париж, захватив с собой сына. Он и не понял, что стряслось. Он привык уже к частым перелетам, а про войну все знает отлично — это для него компьютерная игра... В свое время, учась и работая в Париже, неадекватная супруга проявила гениальное провидение и записалась в хор, в котором пела песни народов мира с озверевшими от пенсионного безделья бабушками и дедушками хороших местных кровей. Пели они “Калинку-малинку”, “Хава-нагилу” и “Бандьеро россو”. Затем жена подружилась с нужными пенсионерами и дружбу продолжила. А месяц назад убежала туда, спасая себя и сына. Ну, и правильно! Это теперь моя святая обязанность — умереть за других...

На улице никаких видимых изменений — только вместо

милиционеров казаки в бурках, гарцующие на лошадках. Из-под бурок серебрятся ножны, усы закручены штопором, да у каждого в руке плеточка. Возле станции метро “Фрунзенская” я выстаиваю небольшую очередь в ларек и покупаю пять пачек сигарет “Winston”. “Super lights” к тому же. Передо мной мужики берут “Приму”. Судя по одежонке и рюкзакам, они тоже едут на Витебский. В самом метро ничего особенного. Молодежь с плеерами и наушниками слушает свой “Рамштайн”, едет учиться и продолжать жить, а такие, как я, — разные, конечно, высокие, низкие, пузатые, поджарые, петербургские интеллигенты и жлобы, сорокалетние и старше, более всего на этот раз пятидесятилетних. Мы едем умирать за молодых. И за их “Рамштайн”.

— Было б не жалко за битлов жизнь отдать, — говорю сам себе, приткнувшись с рюкзаком в угол вагона, — или за цеппелинов, или за свой “Санкт-Петербург” хотя бы.

Передо мной колобок в спортивной шапочке. Он не догадался снять рюкзак и теперь падает на меня его колким объемом.

— Простите, простите, — говорит через спину. — Пришлось взять шампуры. Бригадир попросил, и я не смог отказать.

— Вы на пикник? — мрачно интересуюсь я.

— Нет, что вы! — отвечает колобок, повернувшись. — Я на фронт. Понимаю нелепость сказанного, но таковы люди, и... э-э, таковы их желания.

Те, кому воевать, выходят на “Техноложке” и перебираются на другую платформу, а молодежь в наушниках едет дальше. Между нами уже проведена невидимая черта, мы уже разделены на два мира, класса, две касты. И это правильно, потому что старые виноваты во всем.

Возле Витебского вокзала весело, словно перед первомайской демонстрацией, какой я помню ее из детства, когда правила советская власть и все верили в приближающийся коммунизм и потому дружили и редко когда были говном. Из худых динамиков грохочет бравурная музыка, кричат в мегафоны молодые офицеры в новых шинелях со свежими погонами. Они заметно выделяются из шевелящейся толпы немолодых мужчин, над которыми клубится сизый табачный дым.

Перед самым вокзалом, знаменитым своим ажурным модерном, строится “Четвертый инвалидный батальон”, о чем можно догадаться по кумачовому плакату, приколоченному к борту грузовичка. В его кузове навалена гора инвалидных колясок, да и сами инвалиды, почти все на колясках, кружат вокруг. Это смертники. В газетах писали: инвалидов бросят в самое пекло. Неделю назад ими заткнули прорыв фронта, и уже

первая тысяча инвалидов героически погибла, обороняя броды.

Инвалиды и дети. Это дети инвалидов? Скорее их внуки. Почти не видно женщин. Женщины, похоже, давно бросили инвалидов, а дети нет.

Только дюжина приковыляла на костылях. Это для них привезли коляски. Костыли к черту теперь. Покатили повзводно в сторону перрона. А рядом, стуча по асфальту новенькими ножнами, почти бежал молоденький лейтенант и кричал:

— Раз! Два! Раз! Два! Запе-вай!

И инвалиды восприняли нелепость лейтенантика правильно, с глубоким народным юмором, адекватно и талантливо. Кто-то из них затянул прокуренным баритоном:

— Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут, — она зарыдает, -

а батальон подхватил так, что площадь вокруг на мгновение затихла:

— А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает!

Наших собирали возле пригородных касс, и тут было не протолкнуться. В отличие от инвалидов, пятидесятилетние мужчины еще представляют интерес, и тут плакало много теток средних и разных лет. Дочки, наверное. Или новые жены, пришедшие на смену старым. Если мужчина не баран, то с годами он становится только интересней. Если после тридцати русская женщина теряет по глупости или сволочизму суженого, то ей ничего не светит. Даже спать ей придется почти всегда одной... В кустах стоял странный, ломберный похоже, столик, и за ним на грубом табурете сидел писарь. Из-под “кубанки” на лоб выбилась седая, но упрямая прядь. Что-то вроде очереди образовалось возле писаря, и я встал отметиться. Грубые мужские шутки летели со всех сторон, сталкивались, перемешивались, образуя рой, точнее, гул нелепостей, скабрзностей, за которыми слышались и страх, и удайство.

Я протянул паспорт писарю, тот довольно хмыкнул и стал искать мою фамилию в списке, нашел, поставил крест. Возвращая документ, посмотрел добрыми глазами, приоткрыл рот в лаконичной улыбке, обнаруживая нехватку нижнего клыка.

— Это знаменательно! — проговорил писарь не без торжественности.
— И евреи с нами! И то верно — встанем грудью на защиту родного дома!

— Я не еврей, — пришлось уточнить.

— А это не имеет никакого значения, — подмигнул человек в “кубанке”.

И тут заревела труба. Что-то наподобие пионерского горна оглушило окрестности. Бывший пионер в шинели рядового советской армии стоял на мостовой, задрал к небу медь духового инструмента, и посылал звуковые призывы. Вокруг зашевелился народ, и я зашевелился вместе со всеми. Со стороны Обводного канала прикатил грузовичок с деревянными бортами. Из-за ларьков выбежал верзила с микрофонной стойкой и подал ее в кузов. Пятидесятилетние строились напротив грузовичка.

— Эй, сосед! Сюда давай! — Из шевелящейся толпы махал мне алкоголик Колюня. Я подошел, и он добавил довольно: — Наша вторая рота здесь. Ты же длинный. Становись, а мы за тобой.

Я встал, как велел Колюня, и скоро вокруг меня выстроились в несколько рядов мужики, среди которых я успел увидеть знакомых. Эти мужчины жили по соседству и периодически встречались в магазине, возле ларьков, у метро. Я смутно вспоминал их лица, зато Колюня знал всех и теперь за моей спиной шумно приветствовал собравшихся “бородатыми” анекдотами.

Тем временем к микрофону приблизился шарообразный господин в лыжной шапочке на круглой, как колобок, голове, но в двубортном дорогом шерстяном пальто.

— Друзья и товарищи! — закричал он голосом, явно привычным к публичным заявлениям. — Братья и отцы! Когда лютый враг попирает своими грязными ногами порог нашей хаты, встанем грудью на его пути!...

Круглоголовый деятель, в котором смутно узнавался кто-то из городских политиков правого толка, покричал еще несколько минут, и его сменила пышная женщина из администрации губернатора.

— Нам бы ее в роту через недельку, — раздался за спиной комментарий Колюни, с которым не все согласились:

— А чего неделю ждать? Пускай дадут в дорогу.

— А на чем едем? И куда? — завязалась актуальная беседа.

— На электричке до Павловска.

— Какая электричка! Грузовиками вдоль Финского залива! — осадил всех умный алкоголик Колюня, а официальная женщина закончила в микрофон свою речь так:

— Мужчины! Умрите красиво! И оставайтесь в наших сердцах!

В строю собралось народу немерено. Кроме Адмиралтейского пехотного, дивизион стрелков-снайперов, минеры и еще, кажется, похоронная команда. Пару дюжин мрачных бородатых коротышек бомжеватого вида стояло в сторонке и ни на что другое, по моему разумению, не годилось.

Тем временем горнист выдал очередное мерзкое соло, но сразу за ним прилично заиграл духовой оркестр, составленный из музыкантов “Ленинградского диксиленда”. Среди нот все того же “Прощания славянки” отчетливо слышалась колотушка. Она задавала такт. В такт колотушки забилося сердце. И у других, наверное. Ритмично пробежали молоденькие офицеры. Роты задвигались-затопали, и наша вместе со всеми. Мы зачем-то прошагали мимо грузовичка. На нем стояли круглоголовый деятель и губернаторская женщина. Первый установил пухлую ладонь у виска, пытаясь таким образом отдавать нам честь, а женщина честь берегла; она многозначительно приложила правую ладонь к сердцу, но это у нее не получилось, поскольку доступ к нему преграждала увесистая грудь.

Город закончился постепенно. Справа от Петергофского шоссе текла жидкость Финского залива. Его берега заросли рощами. Почки на ветках начали вылупляться, и за молодой листвой вода уже не просматривалась. Слева грязно-песочного цвета поля и холмы, поселки, сколиозные фабричные заборы из бетонных плит. Нелепая русская жизнь, одним словом, вокруг пригородных дворцов и поместий. Меня не волновало ничто. Только голое любопытство без эмоций и ощущений. Как дантовская комедия — ее так и недочитал в молодости, поскольку появились более громкие развлечения...

Колонна грузовиков катила на запад. Я сидел на жесткой скамейке, зажатый биологическими массами существ, рядом с которыми, возможно, закончится мое осознанное бытие, рядом с которыми меня зароят в землю, и в ней мы разложимся на составляющие элементы, и они, элементы, перемешаются. Всякие там бабочки получатся и червяки, новые соединения. С некрореалистическим любопытством я стал разглядывать соседей, сидящих в кузове под брезентом, но ничего такого многозначительного, глубинного, корневого, почвеннического, Платона Каратаева какого-нибудь... Довольно несуразные физиономии особей мужеского пола в нелепых одеждах. Если нос, так обязательно “картошка”, если штаны, так обязательно с расстегнутой “молнией”. Такими разночинцами обычно полна народная баня на Московском проспекте, куда я хожу с сыном по субботам париться за двенадцать рублей шестьдесят

копеек с носа. Где еще услышишь народную речь и органичные матюги. В кузове нас набилось человек под тридцать, и все они, виденные где-то, в бане скорее всего, сидели вместе в парилке и потели под мутной лампочкой...

Сперва реорле в кузове молчал, осваиваясь с новым составом жизни. Затем, как это происходит во всяком людском сообществе, произошло распределение ролей, причем без разговоров и уточнений — с помощью мимики, жестов, по тому, как человек занимал место на тесной скамеечке, как закуривал и каким способом отбрасывал спичку или убирал зажигалку. Когда мы проехали Ораниенбаум, то я оказался в своем любимом, проверенном жизнью амплуа чужака. Не совсем чужака, скорее просто другого. То ли тут тип нордический играет роль, то ли один метр девяносто сантиметров роста, что редко вызывает симпатию в мужском коллективе. Я привык за пятьдесят лет. Другой — это не обязательно вызывает враждебность. Нет, никогда не сталкивался в прямом виде. И странная фамилия не мешала жить. Явление с севера на Руси всегда вызывало большее дружелюбие, чем вторжение с юга. Хотя я и не прибыл ниоткуда, а родился здесь, все равно жизнь предложила роль северного человека, почти варяга.

Так я думал праздно, а тем временем дорога за Ораниенбаумом скатилась к заливу, став уже не столичной трассой, а просто пейзажным асфальтом, на котором прекратилось движение, только десяток грузовичков с пехотой катил на запад. Почему на запад? Что нам угрожает с запада?

— И посадят нас, мужики, на самолет и сбросят тем в тыл! — словно отвечая на мой вопрос, заговорил Колюня, которого я узнал по голосу. Да как не узнаешь, когда орет с утра до вечера песни этажом ниже.

— Главное, чтоб парашюты не забыли выдать, — ответили Колюне, на что бойцы, молчавшие до тех пор, оживились, зашутили:

— Выдавай не выдавай, не поможет...

— Нас вместо бомб станут сбрасывать...

— Да, говна не жалко!...

Сюда б Жванецкого шутить изворотливо. У народа так не получается. Тут юмор проклеивался скорее в интонациях, а не в словах.

— Еда какая-та сегодня подразумевается?

— Нас кормить — только деньги переводить.

— Думаешь, совсем фигово. Вдруг и отобьемся?

— От этого еще никто не отбивался, а ты говоришь...

— Ну, как в сорок первом...

— В сорок первом вождь был, товарищ Сталин! И то до Москвы

бежали! А теперь за кого? За что? Идеалов нет. Пустота времен наступила...

— За детей помирать не жалко! Ведь тебе все объяснили...

— Только тех, кто объяснял, среди нас не видно!

— А я что-то за свою жену пропадать не рвусь.

— У тебя, что, жена молодая?

— Да как тебе сказать... Бывают и помоложе.

Насчет тех, кто придумал, народ неправ. Я все это и придумал и никуда не скрылся. И Серега Усов с Пашей-Есаулом, и Саша Сека. Они вроде напросились в истребительный батальон. Мы созванивались накануне — никто не знал, на каких позициях окажется. И теперь неясно.

Стало клонить в сон. В дреме я стыдил себя за истеричность одноразового запоя, которым не стоило перечеркивать последние восемь лет... Мао Цзе-дун говорил, что каждое поколение должно иметь свою войну. Вот мы и получаем в нужное время и в нужном месте. Лучше поздно, чем никогда... И белеет парус одинокий в тумане моря... Когда я был такой маленький, но уже негрудной, и отец рассказывал про слонов, стараясь усыпить, и сам засыпал, тогда я будил его и просил продолжать — отец продолжал, я растворялся в сон; тот сон в нашей коммунальной квартире на Кирочной, где Ленин в апреле года революции провел собрание для разъяснения апрельских тезисов... Теперь апрель тоже. Апрель в Абхазии. Пять апрелей в Абхазии в Леселидзе и на реке Гумиста. Апрель в Нижних Эшерах, когда “Лыхны” и “Напареули”, когда я рвал девяносто пять килограммов, а в море не боялся...

— Эй, борода! — Меня толкают в бок, и приходится открыть глаза.

— Какая борода? — спрашиваю, а мне в ответ:

— Седая почти, — отвечают аргументированно.

Машина стоит, и в кузове пусто. Того, кто разбудил, я не помню. Это не важно. Важно, что мы приехали. Я выкарабкиваюсь из кузова на землю, стараясь не ушибить ноги. Ахиллесовы теперь мои ноги.

Абсурд крепчал, как ноябрьский ветер с моря. Мы оказались в Копорской крепости, и нам предстояло оборонять ее обветшалые средневековые стены. Местами обвалившиеся, они еще представляли преграду. Когда-то крепость основали новгородцы и отбивались от шведов. Или немцев. Крепость господствовала над местностью. Имеет ли это теперь какое-нибудь значение? Имеет, если ее собираются защищать нашей плотью. Однажды давно я где-то неподалеку провел лето в пионерском лагере и играл в “зарницу”. Место называлось Систо-Палкино. Бегал с приятелями по лесу с пришитыми на рубаху погонями. А за нами носились

“враги” из старших отрядов и срывали бумажки, “убивали”. Помню, остатки малолеток загнали в залив на мелководье, глумились, отбирая боевой флаг...

Колюня уже где-то успел набраться. Он мочился на колесо грузовика с наслаждением библиомана, нашедшего редкую книгу. Увидев меня, крикнул ни о чем:

— Сосед! Эх!

— Ну тебя в жопу, — отмахнулся я и потащился за народом, который амебообразно протискивался в крепостные ворота.

Из стен кое-где торчали зеленеющие ветки кустарника. Весна тут вполне определилась, и чувствовалось, что скоро из земли попрут трава и листья сделают мир пригожим. Доносился влажный запах моря. Сбоку в небо взмыла чайка и закаркала, ожидая от пехоты объедков. За стенами скрывались современные раздолбанные постройки неизвестного назначения. Просторная полянка посередине вместила прибывших. Молоденький лейтенант в свежей шинели вскарабкался на ржавую бочку, и пехота приготовилась слушать.

— Бойцы! — закричал офицер треснутым тенором. — В два часа привезут обед! Старшины разведут вас по казармам!

— Оружие где? — выкрикнули из толпы. — Чем воевать будем?

— А “ворошиловские” сто граммов?! — Это с актуальным вопросом взвился Колюня.

— Бойцы! — повторил обращение лейтенант и вдруг замолчал.

И толпа молчала. Почти не дышала. Только по-кладбищенски каркали чайки, пролетая над крепостью.

— Отцы, — командир уже не кричал. Он не знал, что сказать, — я один тут. Помогите мне.

Еще ничего не случилось. Никаких сторонних событий. Только масса, разобщенное мясо, привезенное на автобусах, уже каким-то странным образом превращается в общее тело с головой и руками. И лейтенант неожиданно перешел в опекаемые, в младшего сына, сына полка. Именно за таких предполагалось умереть.

Крепкорукий дядька с соломенными усами подошел к бочке и помог офицеру спуститься, сам вскарабкался на его место, оглядел толпу Адмиралтейского полка, поднял руку, прося тишины, и, когда та образовалась, объявил просто, интонацией, не позволяющей возражать:

— Мы тут покумекали и решили... То есть попечительский совет. Чтоб правильно и без бардака. Водку, значит, в подвал под замок. Оружейную еще запереть. Подсобим офицеру. Крепость переводится на

военное положение, и ротными назначаются Иванов, Петров, Сидоров и Рабинович-Березовский. Они и разместят. К ним и с вопросами. А кашу привезут к шести часам. Однако вольно...

Моим ротным оказался Рабинович-Березовский, шестидесятилетний мужчина с лицом архивариуса, потерявшего в хранилище полвека тому назад во времена борьбы Сталина с космополитами, а теперь найденный. На его костях висел ватник блокадной судьбы, но видимая нелепость оказалась ложной — во взгляде чувствовалась упрямая цепкость, а в словах — твердость и современный сленг.

— Товарищи. Коллеги. — Рабинович-Березовский оглядел рыхлую массу роты и вдруг стал похож на кремлевского олигарха. Он и говорил так же быстро сквозь тонкие губы. — Мы сейчас пойдем и распределим места. В пятницу спонсоры привезут спальные мешки. Я договорился. В субботу баня, но сперва экскурсия по историческим местам. Воскресенье кино. Фильм “Летят журавли”. Я договорился. Приедет киноустановка.

— Почти как в Алушке санаторий! — раздался за спиной рокочущий бас.

Я повнимательней оглядел солдат своей роты. Ничего особенного. Такие в метро вокруг. В магазинах. Народ среднего разряда, который уже успел осточертеть своей простотой и народностью.

Наш ротный еврей пожевал губы, помолчал время, равное сорока ударам сердца, оглядел окруживших и объяснил устало:

— Умирать, как и жить, надо со вкусом. И, если получится, со смыслом.

Обладатель рокочущего баса поинтересовался с притворным простодушием:

— Скажите, товарищ ротный, а как вас по батюшке?

— Соломон Моисеевич, — прозвучал моментальный ответ. — А фамилия Рабинович-Березовский.

— Понятно, понятно, — хохотнул спросивший. — Вы, случаем, не родственник тому?

— И еще, — Рабинович дернул плечами и сцепил руки за спиной. — Решением попечительского совета с завтрашнего утра вводится шкала наказаний за проступки.

Начавшие было болтать бойцы прислушались, а ротный проговорил, словно простучал на пишущей машинке:

— Проникновение в винный погреб — расстрел. Мародерство — расстрел. Нарушение комендантского часа и оставление поста без приказа — расстрел. Гомосексуализм по отношению к боевому товарищу —

расстрел. Разжигание национальной розни — расстрел.

Народ только смиренно выдохнул. Кто-то сказал: “Эх-х”. А любопытный бас согласился со всем, явно обрадованный определенностью:

— Понятно.

Колюня уныло слонялся из угла в угол. В каземате было тепло и сухо. Под потолком имелись крохотные окошки, и сквозь их грязноватые стекла в помещение роты доносился предвечерний свет. Я расположился на деревянных нарах и доставал из рюкзака пакет с лекарствами, а Колюня продолжал жаловаться на жизнь:

— Заперли “наркомовскую” водку и не дают. А какое право? Когда еще придется попить ее? На том свете? И тут евреи заправляют! А дойдет до боя — убегут.

— Вот и хорошо. Хоть умрешь трезвым. — Я достал флакончик и шприц. Оголил острие и вонзил в пластиковую крышечку. Задрал рубаху, оттянул кожу левее пупа и воткнул иглу. Влил восемь единиц инсулина и успокоился. В крепость завезли походную кухню с кашей, и теперь вполне можно отправляться лопать углеводы.

Крепость представляла бессмысленное нагромождение камней, и в них с трудом различались черты средневековой твердыни. Вполне домашние руины располагали к миру и ленивому ничегонеделанию. Неделью, проведенную здесь, можно приравнять к профсоюзному отдыху. Во внутреннем дворе наша рота (пока другие рыли вокруг холма, на котором стояла крепость, окопы) два раза пыталась маршировать с винтовками. Получалось прилично, но смешно. Лейтенант под надзором попечительского совета и Рабиновича-Березовского пытался превратить нас в римскую когарту. Никто не протестовал. Апрель разогрелся вовсю — трава лезла из земли. Знающие люди утверждают, что с такой скоростью у покойников в первые дни покоя растут волосы и ногти. Громко лопались почки, и началась атака весенних запахов. Было ясно: вечно умирающий Озирис родился вновь. Ротный не обманул: состоялась экскурсия с историческим обзором, приезжала киноустановка с фильмами “Летят журавли” и “Спартак”. Взгляд в прошлое и работа на свежем воздухе придавали дням здоровую осмысленность, а ночью — спали толпой на нарах под сводчатыми, почти монастырскими потолками — начинали сниться эротические сны. Фантазии еще не разбушевались, но кривая коллективной солдатской потенции явно шла вверх. На восьмой день службы хмурый желчный мужчина, лежавший напротив, проснулся просветлевший, сбросил босые ноги из-под шинели на каменный пол,

посмотрел на меня так, словно впервые увидел, и произнес проникновенно:

— Приснилась свадьба. Я молодой, и жена молодая. Это теперь она жопастая стерва, а тогда делала гимнастику. Мы поехали после по Волге, и она плакала подо мной и говорила: какой, мол, орган. То бишь член. И все это так пришло, будто вживую.

И меня посетило видение. Но не точное, без конкретных черт. Предметное вожделение, однако я понял: не за горами.

Самым интересным во всей нашей солдатской жизни оказался тот факт, что ни от кого дурно не пахло. То ли весна и чистый воздух, то ли экзистенциальное приближение к моменту истины, то ли еще какие обстоятельства, нечитаемые с колокольни обыденного восприятия, но дурные запахи портянок и носков, невымытых тел... Нечистоты скученного человеческого быта не вписывались в оформившуюся коллизию. И вот в то утро, выйдя во двор и пристроившись возле стены на фанерном ящике, подставив лицо первому солнечному лучу, перепрыгнувшему через стену, поняв хрупкость и иллюзорность мира, я вдруг понял главный закон бытия. Осталось только оформить его в буквы и слова. Я даже произнес первую фразу, сказав сам себе: “Совершенно ясно, что жизнь бесконечна, как и бесконечна смерть, и все является разновидностью категории времени, которую понимать следует...”

Поток истины остановил вульгарный шум. Потеряв нить мысли, я нашел неприглядную сцену. Ее можно было б назвать и жанровой. Но лучше не называть, а нарисовать. Краску возьму голубую и желтую. Получится солнечное утро апреля. Возьму серую — выйдут ободранные стены крепости и лицо Колюни. Карандашным грифелем можно прорисовать овалы плеч, локтей и голов. И немного розового — это слюнявый язык арестованного. Колюня счастливый и не сопротивляется. Он каким-то прохиндейским способом проник в подвал, где хранится водка, и всю ночь хлебал ее. Безостановочно хлебать нельзя — значит, отрывался, отдыхал, трезвел на несколько миллиметров, снова глотал и отрубался. Но не умер, хотя и серый, однако счастливый. Мужики из патруля (одного зовут Петром; он живет сразу за Обводным каналом в предреволюционном доме с башенками, построенными “а-ля рюс”; он обслуживает газовые колонки — ходит по домам, что-то вкручивает взамен того, что свинчивает; это анемичный малый; достаточно добродушный простолудин; у второго вполне южнорусское лицо с профилем черкеса; еще бы серьгу в мочку уха, и картина б совсем состоялась) неуклюже проволокли Колюню по крепостному двору. Впереди чеканил шаг наш ротный. И тут я вспомнил про угрозу расстрела и не поверил в ее правду.

Колюня почти не перебирал ногами — его сапоги прочерчивали в апрельской грязище аккуратные борозды, похожие на лыжню. Но в голове алкоголика происходили какие-то процессы. Клетки мозга искрились, посылая противоречивые сигналы. Колюня открыл вдруг глаза и постарался прокричать призыв:

— Люди добрые гады! Христа на вас — есть на мне!

Тут конвоиры отпустили Колюню, и тот рухнул в землю. Пока сосед копошился и вставал на свои короткие кривоватые ноги. Пока пытался отряхивать со штанов грязь, нелепо промахиваясь ладонями мимо коленок...

Добродушный газовщик стянул с плеча винтовку. Получилось это у него медленно и неловко. Колюня тем временем принял позу Пушкина-лицеиста с известной картины, взмахнул рукой, закачался, но устоял, сказал красиво и с пафосом:

— Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы -
Ради жизни на земле!

Газовщик из конвоя ткнул прикладом Колюне в лицо, попав в нос. Сразу же радостно по-первомайски хлынула кровь. Алкоголик картинно упал на колени, а затем вытянулся во весь свой хилый рост. “Черкес” сделал шаг к арестованному и прицельно ударил лежащего в ребра носком сапога.

Глава четвертая

Если в апреле иногда бывает не очень, то в мае всегда хорошо. Ставлю точку и заглядываю в блокнот. Нет, это случилось 8 апреля, а не 8 мая! Тогда просто переписываю предложение... Если в мае иногда бывает не очень, то в апреле всегда хорошо. Погода стояла майская — вот мне и показалось...

Ночью накануне позвонил Шагин и заявил заговорщицким шепотом:

— Значит, так. Была инструкция: денег не просить и не кормить.

— Ладно, — соглашаюсь, — про деньги понятно. А почему не кормить?

— Не знаю. — Митя серьезен, как сто двадцать третье китайское предупреждение. — Про еду особенно настаивали.

— Если настаивали, то и не будем. А кого, кстати, не кормить-то? — догадываюсь я поинтересоваться.

— А ты не в курсе?

— А как я могу быть в курсе, если меня всегда держат в неведении!

— Да ты что! — Митя не верит. — Ты афиши в городе видел?

— Афиш навалом. Юморист какой-нибудь? Альтов типа Задорнов? Мне и без них смешно.

— Подожди! Эрик Клэптон прибыл на концерт! А завтра утром он приедет на Гору!

Я подумал, что Митя врет, но тут же поверил. Это должно было когда-то случиться. Что-нибудь подобное. Или Клэптон, или битлы, или еще какие-нибудь человечки из славной юности. Давно. Совсем давно. Черт знает когда я выменивал пластинки с их лицами, носил под мышкой диски, помню пластинку группы “Cream” — трое красавцев в белых костюмах приветливо махали мне, девятнадцатилетнему. И вот домахались. Через тридцать лет с хвостиком пути пересекаются странным образом на плодородной ниве алкоголизма. Просветленного, то есть протрезвленного. Мы тут славно пропьянствовали треть века, а они там. Половина померла и там, и тут. А жить хочется всем, всегда и везде. Долгая история с участием американского миллиардера и алкоголика Лу, русского нью-йоркца Жени, продолжившаяся в поселке с финским названием Переккюля, что в часе езды от Питера на юго-запад...

Натягиваю кожаную куртку и в девять утра выхожу на перекресток, где меня ждет легковушка. Возле нее Макс — крупный мрачноватый

мужчина с круглым лицом, перечеркнутым прокуренными усами.

— Привет, — говорю, а он:

— Привет, — говорит. — Поехали.

Втискиваюсь на переднее сиденье. На заднем писатель Андрей Битов.

— Доброе утро.

— Доброе утро. — У писателя озадаченное лицо с пепельной щетиной. Эрик Клэптон не его песня, но и Битов участвует в алкоголизме как человек, хоть и старый почти, но чувствующий нерв времени.

Мы катим по солнечному проспекту и выезжаем из города. Здесь окрестности еще помнят про зиму — даже на расстоянии видно, как холодна земля. Грязь поверхностна, словно изучение английского языка на скоротечных курсах или танцевальная любовь на вечеринке. Кое-где в канавах бело-черный недотаявший лед. За Красным Селом начинается бардак русских колдобин. Без них было бы скучно.

— А ты... как его?... Эрика Клэптона знаешь? — спрашивает Битов, и по его интонации становится понятно, что для писателя имя великого гитариста — пустой звук.

— Как облупленного! — отвечаю Битову частичную неправду.

Я знаю миф, в котором больше моей жизни и моего поколения, чем англичанина. А мифам не всегда полезно становиться реальностью. Когда с опозданием в двадцать пять лет в Россию поехали играть разные рок-стары, то я решил не ходить их смотреть. У меня в голове свой “Rolling stones” и “Deer purple”. В натуральную величину они могут только нарушить юность, засевавшую в памяти...

Тем временем мы выкатились на холм, обрывающийся долгим пустым косогором. Незасеянные, а значит, и небеременные поля под холмом весело зеленеют под открытым небом. На краю косогора за аккуратным забором находится пригожее кирпичное здание “Дома надежды на Горе” — таково полное название реабилитационного центра. Здесь помещается где-то тридцать пациентов, с которых денег за курс не берут и брать не собираются, рассчитывая на меценатов. Наши же водочно-пивные олигархи больным или сироткам фиг дадут, поэтому на Горе рассчитывают больше на просветленных иностранцев. Мифический Эрик Клэптон теперь. Хотя деньги велели не просить...

Мы заходим в калитку. Тут еще пару машин подкатывает. Большой Митя Шагин с бородой. Целуемся и фотографируемся. Тут же, скатанная из бревен, часовенка. Садимся возле стены, мурлычим на солнцепеке, а Эрика Клэптона все нет.

— Да, — говорю Мите, — опять обманули больного человека...

— Страдающего неизлечимым, прогрессирующим и смертельным недугом, — подхватывает Митя.

Народ ходит туда-сюда. Очумевшие пациенты и с дюжину тех, кто достиг уже душевного покоя, как альпинист Джомолунгмы.

— Мы, понимаешь, — продолжает Митя, — и березку заготовили. Будем ее сажать со стариком Эриком.

— Замечательно! Заложим аллею трезвых героев! А я дома порылся и нашел виниловую пластинку Клэптона “461 Ocean Boulevard”. Это там, где песня “Я убил шерифа”. Двадцать лет назад ее во всех питерских кабаках играли. Буду автограф брать. Первый раз в жизни, кстати.

— Ничего. У Эрика не стыдно.

Мы так говорим, греемся, время идет, а англичанина все не видно. Как-то и забывается он в деревенском русском утре, даже противоестественным кажется его имя в этой обстановке — вон баба тащится с коромыслом и слово “хуй” начертано на обломке бетонной трубы. За отсутствием других приезжих знаменитостей народ все более льнет к писателю Битову.

И тут на горе появляется “мерседес” дорогой марки и останавливается возле ворот. Из машины вылезают трое мужчин: немолодой и большой, молодой и тонкий, немолодой и средний. Они входят в калитку, и им навстречу устремляется директор Дома — кряжистый полувековой лысоватый мужчина с капитанской бородкой.

Мы с Митей продолжаем сидеть, понимая, что визит начинается, думая, однако, что появилась первая, в определенном смысле разведочная машина, а сама “звезда” на подъезде, сейчас выкатит в прожекторах и в шляпе с перьями...

— Пойдем-ка, — говорит Митя, и мы покидаем солнцепек возле часовенки. — Пора начинать руководить процессом.

— Главное, когда появится, Клэптона не кормить, — напоминаю я.

— И денег не просить, — соглашается Митя.

Алкоголики робеют, но подтягиваются тоже. Мы с Митей жмем руки прибывшим, а директор произносит краткую информационную речь, обращаясь в основном к немолодому и среднему. Тот одет в светлые спортивные брюки и куртку с капюшоном. Именно ему рассказывает правду экс-капитан, а англичанин на каждую фразу отвечает:

— Фантастик!

“Так когда же сам Клэптон...” — начинается мысль, и я вдруг понимаю, что именно он передо мной и стоит. При рассмотрении вблизи мифические герои меняют облик. Великий гитарист оказался другим, но

все равно кайфовым, пускай и с вялым подбородком и мелкими чертами лица. Всяко уж краше, чем Шварценеггер или Черномырдин.

— Дорогой господин Эрик! — закончил информационное сообщение директор. — Давай пройдем и осмотрим дом!

Вместе с гостем и алкоголиками мы входим в здание. Директор останавливается возле “наглядной агитации”, древа жизни, на каждом из золотых листочков которого начертана фамилия дарителя. Директор говорит, как экскурсовод:

— На одном из листков написано: Юрий Шевчук. Это русский рок-музыкант. Каждый год он играет концерт в нашу пользу.

Похоже, директор решил брать быка за рога, и мы с Митей шепчем директору в ухо:

— Денег не просить, — а Эрик восклицает:

— Фантастик!

А напряженность первых минут тем временем тает. Клэптон разглядывает происходящее вокруг с интересом. Он не жена губернатора, которой нужно поднимать рейтинг мужа перед выборами и посещать сироток. Он приперся сюда в день концерта по собственной воле, зная, что ищет. А искал он алкоголиков, которые стараются. Он и сам старался и теперь трезв как вымытое стеклышко. Классный парень, одним словом. Не говнюк. Не ошиблись мы в нем тридцать пять лет тому назад... По узкой лестнице шумно поднялись наверх и оказались в просторной комнате с окнами на русские просторы. Клэптона подвели к стене с приколотой на нее картой великой Родины. На ней множество отметок и пунктиров, проложенных к Петербургу. Из пятидесяти городов и населенных пунктов страждущие алкоголики прорывались к нам — один алкоголик добрался до деревни Переккюля аж с Сахалина. География впечатляет. Великий, как наша Родина, гитарист слушает объяснения и повторяет каждые тридцать секунд:

— Фантастик!

— Я знаю, Эрик, что ты тоже помогаешь подобному центру, — начинает директор.

— Йес! — вскрикивает Клэптон. — Симеляр! Такой же! — Гитарист выглядывает в окошко и добавляет: — На Антибах. Это Карибское море.

— ...И ты даже продал пять своих старых гитар на аукционе в пользу центра!

— Денег не просить, — шепчем мы с Митей снова, а Эрик вскрикивает:

— Фантастик!

Стало понятно, что дружба состоялась, и директор, несколько расслабившись, предложил:

— Так, может быть, выйдем на улицу и посадим березку?

— Березку? — переспросил Эрик и по-приятельски улыбнулся. — Йес, оф кос!

Мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. Как хороша русская природа, когда нет грязи и привычного говнища! Так бы и жить в чистоте и с солнцем над головой!... За часовенкой неподалеку от забора алкоголики выкопали заранее ямку. Приготовили лопату и хворостину с корнями — ей и предстояло сыграть роль березки. Никто из больных и здоровых не посмел приблизиться. Только Эрик, Митя и я. И это случилось — Эрик воткнул хворостину в ямку, я схватил лопату, почувствовал теплую плоскость черенка и пошуровал лопатой, а Митя полил конструкцию из лейки.

— Вот она — аллея трезвых героев! — сказал я.

— Ну так! — сказал Митя, а Эрик закивал, соглашаясь:

— Йес! Йес! Фантастик!

Затем набежали пациенты и стали фотографироваться.

В моем повествовании нет юмора, а только толика здорового умиления...

Пока алкоголики собирались в зальчике, дорогому гостю было предложено испить чайку. В комнате на первом этаже в духе русского народного хлебосольства стол ломился от бутербродов с колбасой и сыром, а в мисочках лежали печенье и конфеты. Но кипяток запаздывал. “Не кормить!” — переглянулись мы с Шагиным, но было поздно. Оказавшись за столом по левую руку от гостя и воспользовавшись паузой, я вспомнил фразу из учебника русского языка и спросил:

— Хэв ю бин ин Раша бефо?

— Йес! — живо откликнулся Эрик. — Неа зы Мурманск!

Как я понял, гитарист увлекается подледной рыбалкой и прилетал в Заполярную Русь с этой целью. Вокруг носились на вертолетах нашенские богатеи и пили водку ведрами.

— Я синк итс ваз грейт.

— Йес! Йес! Фантастик!

Клэптон косился на бутерброды, но, сдержавшись, от трапезы отказался. Но не отказался дать автографы и принять подарки. Митя подарил книжку про свое пьянство, а я — кассету с песнями о трезвости. Клэптон расписался на обложке винилового диска, и теперь мне есть что разглядывать долгими зимними вечерами...

Но Эрик приехал в Переккюля не чай пить. Он поднялся на второй этаж и выступил перед больными и ответил на вопросы. Это был интимный разговор, и даже сейчас я не стану его вспоминать. Главное, это случилось, запечатлившись в пространстве времени.

Затем Эрик, растрогавшись, пригласил новых друзей на концерт, и его спутники составили список, в котором я занял почетное третье место. Напоследок было объявлено массовое братание, и снова фотографировались на солнышке. Затем договорились дружить алкогольными домами, помахали гитаристу, умчавшему на “мерсе” играть концерт в Питере и продолжать мифическую жизнь из клипа. Такова краткая история вопроса.

Чуть позже я отправился в Пулково встречать жену, прилетавшую из Парижа. Она была, как всегда, хороша и приветлива первые сорок минут. По дороге домой я рассказал о встрече в Переккюле и о третьем месте в списке друзей.

— Так что ж ты, милый! Гоним в гости к Клэптону! — воскликнула жена.

— Ах, оставь, дорогая! Идеально то, что вспыхнуло, как мотылек в пламени свечи, и не имеет продолжения! — ответил я.

— Ну ты, блядь, и философ! — сделала вывод парижская жена.

Бывший Мастер Пипетки, а теперь просто Жак, большой и чуть-чуть животастый мужчина, одетый неизменно в черные джинсы и черную джинсовую куртку, с волосами, как конская грива, слишком густыми для его четырех с половиной десятков лет, — другим Жака и не представить, только худее чуть-чуть или толще, — он отвечает в трубку, что, конечно же, будет. И он есть. И я есть. И еще с полтора десятка машин припарковалось возле решетки Охтинского кладбища, где сразу за оградой и рядом с шумным и промышленным проспектом Жора Гуру прошлым летом выбил у кладбищенских упырей полтора квадратных метра для Никитки.

Как— то буднично. Нормально. Без похоронного надрыва. Просто пришли люди к могилке -взрослые люди в основном. Тут же стол с рюмками и закуской, но мало кто пьет. Почти все за рулем. И я за рулем. Тут и родители Никитка, и мама, и вдова Света, тут и Жора Гуру сидит с ними на скамейке. Тут же и яркое, несколько пыльное солнце пробивается сквозь веселую зелень деревьев. Ветер колеблет листья, бело-желтые лучи скачут “зайчиками” и подмигивают.

Как— то буднично. Так, как надо. Николай Иванович выпивает рюмку, а Света говорит:

— Приезжайте в пять! Жора записан к зубному врачу, а к пяти обещал

вернуться.

— Как ты? — спрашивает Корзинин, а я отвечаю:

— А как надо! В пять — значит, в пять.

— И возьмите гитару, мальчики, — просит Света. — Споем и Никиту вспомним.

— У меня нет гитары, — отвечает Николай Иванович Корзинин.

Когда — то у него был профиль Блока, но он Блока пережил почти на восемь лет, и профиль несколько изменился.

— Я привезу, — обещаю вдове. — Заеду домой и положу в багажник.

Заехал и положил, затем долго рулил в пробке на Обводном канале. После искал нужную Советскую улицу за Старо-Невским, странным образом сохранившую название в антисоветскую пору. Сплошь парадоксы времен и их абсурды. ТЮЗ находится на месте Семеновского плаца, где происходили казни, народовольцев там вешали и всяких других. Детский журнал “Костер” расположился на Мытнинской улице рядом с Советскими, там тоже казнили. Гражданская казнь там была над Чернышевским...

На 4-й Советской торможу. Белая дверь в стене. Мне открывают, и я вхожу. Не безудержный, но все же достаток. В зальчике на стене обложка пластинки в гражданской раме. На обложке битлы, какими они были в шестьдесят третьем году, и автографы. Битлов, надо понимать. Напротив них поминальный стол с водкой и закусками. Кое-какой народ бродит, но Жора Гуру задерживается, и никто не смеет. Потому что Жора создает рабочие места. Все тут, в конце-то концов, на него пашут. Только не я и не Коля. Тут же и старый больной библейский Джордж. Он тоже не работает, но уважает. Пока Гуру (или “гуре” правильнее сказать?) рвут зубы, все фланируют возле стола. Дюжины полторы народа. Возле кофеварки вижу газету “Жизнь”. Такая бульварная дурота, но там в начальниках знакомая. Она стала публиковать мои короткие рассказы и на днях напечатала историю про то, как парижская жена из Франции звонила Путину в ФСБ, думая, будто это Федеральная служба банков. И дозвонилась, поговорила... Самое занятное - просвещенные ученые-экономисты, коллеги иностранной жены, читают “желтую” прессу. Я печатал историю в обычной газете типа “Вечерний Петербург”, и никто не среагировал, а тут даже мелкий скандал...

Поминальный народ зашевелился, усаживаясь. Гуру позвонил по сотовому и велел не ждать... Сели и сказали. Вздروгнули. Но только не я. Барабанщик и гитарист. Джазовый дедушка. Не очень знакомые другие люди. Света несет салаты. Вкусно — и снова сказали. Я тоже сказал как представитель одной из сторон. Опять вкусно есть. Затем шумок пролетел

— это Гуру с новыми зубами. И началось опять, будто и не начинали... Жора-артист — и причем искренний, только ему уже пятнадцать лет в зале зажигалками светят под балладу, а после концерта под колеса кидаются. И ходоки идут — из Сибири даже, с Алтая, сам видел за кулисами ДК Ленсовета, охрана держала за ноги, и парень вопил в дверь гримерки: “Жора! Я сюда пешком шел из Барнаула! Кассету с песнями держи! Она в куртке! Куртку возьми себе!”, и парень бросает куртку, Жора морщится, парня уволакивают. Жить так, конечно, нельзя. Это на мозги капает. Жить можно, когда станешь Гуру, тогда, как Сталин с трубкой и усами, обутый в мягкие сапоги, играешь сам себя и любишь народ, жалеешь его, поминаешь соратников. Жопа, одним словом...

Все говорят про Никитку, но произносят слова не в потолок, не себе и не вдове, а тов. Сталину говорят, следя за реакцией... И я — не хотел, но как-то само получилось — обращаюсь к Жоре Гуру (гуре?) — вождю...

Затем показ достижений народного хозяйства — студия, мать мать! в два яруса, положено хвалить, и хвалю, после выходим во дворик, арендованный у власти, отгороженный от ничейной земли бетонными плитами...

— И понимаешь! — говорит вождь. — Труп здесь нашли.

— Как это так? — деланно удивляюсь я, поскольку мне не удивительно: я в больнице видел трупы и несколько раз и себя трупом чувствовал.

— А вот так!

Николай Иванович тем временем уже говорит афоризмами:

— Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут.

Его сопровождают и придерживают. Не все из Жориного бэкграунда знают о великой истории за спиной, однако почетному гостю положен почет. А почетный Корзинин пытается в студии побарабанить. Но нельзя барабанить — все настроено под запись. Тогда человек из бэкграунда просительно просит меня:

— Может быть, в другой раз? — и я облегчаю положение:

— Не давайте, конечно, ведите к столу, естественно, и все успокоится, несомненно, — а Николай Иванович, подчиняясь, передвигает ноги, произнося по слогам:

— Дурак прогонит гостя. Умный попросит взаймы, — а печально вздохнув, добавляет: — Если б не гости, всякий дом стал бы могилой.

За столом снова. Но меньше и пьянее. Музыканты исчезли, и остались наемные служащие, приятели и прихлебаи. И вдова с нами. Плюс пару чьих-то жен. Мы с Корзининым и библейским Джорджем не шибко какие

приятели, но и не служащие. Выходит, что прихлебатели. Но я даже и не хлебал.

— Владимир, — это вдова говорит и теребит пуговку на моей рубашке. Поаккуратней бы. Не простая рубашка и не золотая. Забавная история в этой тряпке. Ее подарила мне одна французская принцесса не на горошине, довольно сумасшедшая художница, но милая, как южноамериканская сказка. Родилась принцесса в Аргентине и росла там, а родители принимали гостей — Борхеса там, Кортасара. Это папа у нее принц, а мама из бедного индейского племени. Потом принцесса отправилась в Англию, где познакомилась с Джоном Ленноном и его Йокой. Потом я с ней познакомился, и она подарила мне картину — несла с помощью прохожих подростков на остров Сен-Луи, поднимала в студию, просила подрисовать уголок. Я подрисовал. Затем принцесса подарила мне две рубашки — синюю и белую. Их ей презентовал дедушка Сен-Лоран, подразумевая мужчин у принцессы, но мужчиной странным образом и понарошку оказался я. Иногда надеваю синюю, но редко — все равно никто не поверит про Лорана и Леннона. А белую я переподарил мастеру Жаку. Он в ней, наверное, теперь лежит под “БМВ” и гайки крутит...

— Владимир, — говорит вдова, — принеси гитарку. Споем. Никитку еще раз вспомним.

— Да как-то... — Я кошусь на Гуру, вспоминая пословицу типа поговорки про то, как не стоит ехать в Тулу с самоваром. — Ну да ладно, — соглашаюсь, — мы же по-свойски. Без понтов. Не в телевизоре чай. А просто так можно и попеть.

Но просто так не получается. Я приволакиваю из машины гитару и достаю из чехла. Товарищ Гуру сажает по правую руку во главе угла, то есть стола. Дюжина народу всего осталось, и тринадцатым Николай Иванович сидит, нахохлившись, чуть в сторонке. Тайная явная вечеря. Я что-то такое пою басом и баритоном. В ближнем бою я могу завалить всякого, даже Джона Леннона. Хотя его и без меня завалили. Есть законы восприятия, и я их знаю, но уже не артист, и мне насрать на все... После песни тов. Сталин сокрушенно кивает: да, мол, так вот проходит и наша жизнь. Но руку на гриф кладет ненавязчиво и более мне басить и баритонить не позволяет ни фига. Все-таки Тула и все-таки самовар...

Какая такая заноза у него в сердце? Куда ж еще! Но надо и нас с библейским Джорджем покорить, как татары Ярославль. Жора Гуру только взмахнул рукой — не ногой же! — и худощавый служащий сбегал наверх и вернулся с листками, на которых новые песни. Другой заметил, что падает тень, и направил свет, чтобы вождь не портил глаза. Третий выпорхнул в

форточку и тут же впорхнул с бутылкой, которой на лету свернул шею, изготавливаясь...

И запел под гитару (мою) по-домашнему. Как умеет: круто, душевно, страстно, и тихо, и громко, разные новые, похожие на старые, только это не важно, все равно каждый поет одну и ту же песню, главное, чтобы она, первая, одна и та же была хороша, от бога ли, от марксизма-ленинизма — не суть, только вранья нельзя, все равно, коли врешь, народ узнает или почувствует...

Жора Гуру (все-таки датый) мельком бросал взгляды на Джорджа и меня (все-таки трезвый инженер человеческих душ): как, мол, забрало? покорил? Дело было не в нас персонально, а в пружине характера, в необходимости, в постоянной жажде. Я делал вид, что забрало, и почти оставался честен перед самим собой.

Драматическая пауза. Остановка. Стоп-тайм. Зависимые вздыхают растроганно. В повисшей тишине ожидания Жора (вождь, товарищ Сталин, Виннету) проговаривает по-свойски вопрос, на который по известной причине невозможно услышать разных ответов, и звучит он так:

— Такие вот песни. Может быть, хватит?

В атмосфере трогательного взаимолюбия раздается вдруг твердый, но пьяный голос Николая Ивановича:

— Да уж! Надоело на хрен!

— Эх! Ну вот, — вздыхает хозяин, похоже, довольный нетривиальным ответом.

В пространстве поминок происходят некоторые шевеления, и через пару минут под окнами останавливается такси. Николая Ивановича с поклонами и знаками почтения служащие выводят под руки и транспортируют все-таки домой, а не на кладбище.

После песен — истории, бойцы вспоминают минувшие дни, как Саш-Баш стоял, прижавшись лбом к стеклу, и на глазах становился тем, кем стал, как красавец Бутусов навещал с бутылкой портвейного вина, как пьяный Никиток на гастролях в гостинице уронил в баре бандюгановскую бутылку и Жора волочил его по гостиничному коридору, а в спину бандюга палил из нагана и почти попал...

Августовская ночь упала с размаху, и в ней желтые и красные. По дороге в Купчино тоска. Старый библейский безумный Джордж говорит уныло. Старый небиблейский, но безумный я. Еще мы едем куда-то, и я рулю рулем. Старый библейско-небиблейский безумный мир вокруг. Он тоже катит куда-то. Довожу Джорджа до черного пустыря. Друг открывает дверь, выкарабкивается, произносит:

— Ну, ладненько. Ну, пока. Ну, счастливо. Ну, свидимся. Ну, да ладно,
— и хромает прочь.

Глава пятая

Сперва утро такое неожиданное, пахнущее ферганской осенью. Такой та мне запомнилась навсегда. Лучше помнить себя в расцвете физических сил, чем в упадке нравственных. По прямым русским улочкам криво брели на рынок узбеки с котомками, одетые в засаленные халаты. А женщины сидели на корточках возле автобусных остановок. На головы они странно напяливали старые мужские пиджаки, рукава которых что-то смутно говорили об ампутациях. На самом же деле пиджак всего лишь имитировал запрещенную советской властью чадру-паранджу, отчасти закрывая лицо, и одновременно мужским фасоном напоминал о власти сильного над слабым. В октябре в Фергане по утрам, так же как и сегодня возле Копорской крепости, пахло ночной прохладой. Этот запах уйдет по мере нарастания солнца.

В полдень собирается попечительский совет решать судьбу Колюни и еще одного из поварского отделения. Того накануне делегировали в соседнее село закупать или реквизировать у населения растительное масло. Масла практически не оказалось, как и населения. Немая Мотья да десяток дедов — они закосили войну, но все равно оказались на ее острие. Не добившись масла, поварской стал добиваться расположения Мотьи. Та ему что-то дала, а что-то и не дала. Сексуальный, одним словом, инцидент с непростыми последствиями в перспективе.

В одиннадцать пролетел “кукурузник”. Сделал круг над крепостью, и из него посыпалось. Будто лепестки “любишь — не любишь”. Я сидел на обочине ближайшего перекрестка с “лимонками” в рюкзаке, лежавшем тут же возле ног. В пыли апреля валялась и винтовка Мосина, берданка. Ее хозяин страдал желудком в соседних кустах — сквозь прутья белела часть человеческого тела. Константин Забейда. Его звали так. Странное имя. Хотя чего уж тут странного? Все странно, и все обычно. Подольше б он просидел в кустах. Не хочется говорить. Не о чем говорить... Один из лепестков винтом спланировал на рюкзак, и я взял его. На гладкой прямоугольной поверхности оказались напечатанными слова агитации и пропаганды:

«МУЖЕСТВЕННЫЙ ЗАЩИТНИК СЕВЕРНОЙ ТВЕРДЫНИ!

Нет такой нечеловеческой силы, которая смогла бы. Сдавайся, мил человек, и тебе будут созданы самые настоящие скотские условия. Как

необходимому зверю тебе будет предоставлен на ночь теплый хлев и двухразовая еда. По твоим церковным праздникам в красных уголках ты займешься художественной самодеятельностью, а раз в месяц за стахановский труд тебя в виде вознаграждения ждет обряд спаривания, без последующего тебя пожирания.

Перестань даже думать, и руки вверх. Тех, кто попробует и попытается, ждет самое из самого. Из черепов будут сделаны пиршественные чаши.

Твоя Добрая Завоеватель».

А “кукурузник” еще кружил. Я машинально поднял голову. В тот же миг из самолетика посыпались. Похожие на арбузы, но не бомбы. Основной груз упал за стены крепости, но кое-что долетело и до нас с Забейдой. Бомба-арбуз как раз и рухнула в кустарник, где Забейда приземлился. Сперва короткий тупой звук, словно ткнули в поддых. Затем секунды громкой тишины. После них вопль моего напарника. Тот ломанулся к дороге, подхватив штаны. Затем стоял, вздрагивая, надо мной, вскрикивал, роняя слюну:

— Посмотри туда! Там! Упала с неба голова! Глаза сожрали вместе с носом! Это они так нас собрались!

Я же не предполагал отвечать, поскольку не знал что. Странно зажужжал под еще моей черепушкой парадокс: “Вот мы сидим тут на солнышке все утро, убиваем время. Странное словосочетание, экзистенциальное, имеется и в других языках. Kill the time, говорят американцы. На самом деле оно убивает нас, а мы в отместку лишь декларируем возможность убить время сами”.

— Твоя Добрая Завоеватель, — сказал я.

— Что ты имеешь в виду? — вскрикнул Забейда.

— Да так. Просто подпись.

Толку от нашего караула нет. Это лишь способ занять солдат, чтобы не разлагались. Говорят, роты Иванова и Петрова на северных подступах вырыли окопы пятиметровой глубины, и теперь их расширяют, превращая в противотанковые рвы. Только справедлив вопрос: будут ли танки? Прошел слух, будто в этой войне побеждает ужас. Зародившийся где-то на юге, он распространился со скоростью чумы и не имеет вменяемого маршрута или фронта. Сперва был ужас, а уже после к нему, мутируя, примкнули люди. Прильнули мужчины. Все произошло быстро и смутно. НАТО вроде бы пресекло поползновения, и ужас устремился к тем, кто слабее на передок. Это мы слабее. В обе Отечественные, в Империалистическую, в Батыево

нашествие...

— Я не знаю, — говорит Забейда, — даже и не знаю что. Что делать-то? Меня просто охватывает ужас!

— Это, Костя, такая война, — отвечаю, а он:

— Что значит такая! — возвышает голос. — Какая такая война? — спрашивает, а я ему:

— Отвали, Костя, — говорю. — Сходи лучше посиди в кустах напоследок. Из наших голов чаши сделают, оправят в золото или серебро, вставят в глаза рубины, а в ноздри сапфиры. Время отполирует следы от наших извилин...

— Нет там внутри никаких следов.

— Откуда тебе известно?

— Я два курса медицинского одолел.

— А потом что?

— А потом то.

— Понятно. Тем не менее время отполирует наши головы, и будем мы лежать за витриной будущего Эрмитажа.

— Не будет больше никакого Эрмитажа, — говорит напарник и решительно поднимается.

У него белое мучное лицо почти без бровей. Черты лица мелкие, неагрессивные. Он рыхловат и вызывает симпатию неизвестно почему. Такие люди до старости дети, усердные пятиклассники, получающие, несмотря на усилия, не более четырех с минусом.

Он скрывается в кустах подальше от упавшей головы, и я остаюсь один. Так как хотел.

Нас сменяют после обеда, время которого условно, как содержание слова “любовь”. Один год в своей жизни я изучал этот термин, изучил, сформулировал правильно и впервые в истории человечества. Если история продолжится с моим участием, то опубликую всю правду. Она лишь один из цветов спектра, всего лишь часть белого цвета. Когда-то полюбить, съесть и трахнуть означало одно и то же. Кажется, мы вернулись к пункту А, от которого человечество поплыло к трубадурам средневековья и политкорректной педерастии двадцатого века. А сперва было, как сейчас собирается. Вот нас любят, трахнут и сожрут одновременно во время сопротивления ужасу.

Костя Забейда затих в кустах, и я, забеспокоившись, перешагнул через обочину. Под ногами шуршали серые прошлогодние листья. Костя лежал за упавшим от смерти деревом, и сперва показалось, будто и он неживой. Но он всего лишь спал, положив крупную голову на зеленую кочку. Спал и

пускал слюни. Ничего не боялся.

— Костя. — Я потрепал напарника за плечо, и он открыл глаза.

В них очевидно светилось белое безумие неполного пробуждения.

— Нас, Костя, вражеские пластуны в плен возьмут. Или свои расстреляют за предательство на посту.

— Что? Что? — Костя сел и спросил уже осмысленно: — Который час?

— Думаешь, я тебе спать дал? Мы же, брат, на боевом дежурстве.

— Есть хочу.

— Все хотят. Однако терпят. Ротный обещал кормить. Он ни разу не обманул.

— Сейчас бы... Не знаю что. Сковородку жареной картошки, вот что!

— Мало тебе надо для счастья.

— А мне никакого счастья не надо. Это когда я абитуриентом был, то искал смыслы. А сейчас просто имею инстинкты.

— Инстинкт самосохранения что-то не того у тебя...

— Зато половой еще теплится. Только что в такой групповухе участвовал.

— Где? — удивился я.

— Где! Во сне!

— Ну и кто кого?

— Победила дружба. Но все равно круче Бородинского сражения.

— Счастливый. А мне уже давно ничего не снится.

— Неужели до такой степени?

— Да я про сны говорю.

— Говори, говори...

Говорили так, потому что ужас отступил и остался банальный страх.

И тут пространство остановилось. Ничего особенно и почти незаметно. Только воздух перестал шевелиться, а птицы перестали трепетать. Даже осы, мухи, первые бабочки, даже пыль... И еще тревога, такая тянущая, словно голод сосет под ложечкой. Остановка продолжалась всего ничего — минуту или две. Затем все снова поехало, задвигалось, закрипело. Скрип раздавался явственный — всяко уж громче мух и бабочек. Из-за поворота показались белые лошади, тянущие повозки, рядом с которыми шли тоже почти белые, но просто запыленные люди. Повозка за повозкой выкатывались на дорогу, первая поравнялась с нашим постом. Можно было разглядеть лица людей и морды лошадей. Последние вращали головами, как обдолбанные, а у людей оказались высохшие глаза и впалые щеки. Люди устало волокли ноги и ружья, а лошади повиновались из

последних сил. Повозки оказались забитые странным персонажами — тоже военными пожилыми людьми, спеленутыми в смиренные рубашки, весело и несвязно выкрикивающими буквенные сочетания. Одна из повозок остановилась напротив поста, и лошадь, закричав, попыталась безуспешно вырваться на волю, а один из персонажей, вперив в меня то, что когда-то называлось человеческими глазами, разродился понятным почти слоганом:

— Рюс капут, мин херц, рюс капут!

Повозки прокатывали одна за другой, и скоро их движение стало привычным, будто было всегда.

— Что это — сумасшедший дом вывозят? — спросил Забейда.

— На Академию наук не похоже, — ответил я.

Рядом с повозками шли сопровождающие с оружием. Они приглядывали за спеленутыми, из которых кто мычал, кто вскрикивал, кто порывался прыгнуть на дорогу. Такой тут же падал в пыль, его хватали и поднимали, слегка били по голове прикладом, закидывая обратно в транспортное средство. По обочине устало волочил ноги мужчина, в котором я не сразу узнал Николая. Знакомую, всегда бросающуюся в глаза лысину закрывала кожаная фуражка с широким козырьком. А седая борода давно уже не равнялась бесу в ребре. Он был затянут в португезу, под которую почему-то надел медицинский халат — белым его уже можно было назвать с трудом. Я сделал шаг навстречу.

— Коля!

Николай Медведев чуть повернул голову, и в его лице не возникло ни радости, ни удивления.

— Привет, — механически произнес он. — Ты тут, значит.

Мы обменялись рукопожатием. Коля достал кисет и стал сворачивать самокрутку. Я достал пачку сигарет.

— Давай твоих. Уговорил. — Края губ чуть дернулись в улыбку, и стало ясно, что он меня вспомнил.

Повозки выкатывали из-за поворота одна за одной. Скрип и грубый шорох занимали пространство, словно вражеские полки сдавшийся город.

— Я опять пошел по медицинской части.

— А это кто? Раненые?

— А там никого не ранят. Или в блин укатывают, или человек с ума сходит. Я несколько блинов видел. Хорошо прожаренных с обеих сторон.

Захотелось спросить, и я не сдержался:

— А ты?

Николай только пожал плечами и ответил все так же без эмоций:

— Я же патологоанатом. Мне просто так с ума не сойти. Только сушит вот здесь.

Он положил правую руку на сердце. На указательном пальце не хватало фаланги — ее заменяла грязная тряпочка.

— А-а! — Медведев увидел, на что я смотрю, и объяснил: — Это мне ужастик вчера оттяпал.

— Кто?

— Ты не знаешь? Мы так ихних рядовых называем. Кого в плен берем. Очень похожи нравом на лобковую вошь.

— Есть пленные?

Николай снял фуражку, достал из кармана брюк платок и вытер лысину.

— Не совсем. Всего одного и взяли на Псковском фронте. Он у наших парней мозг пил и был в отключке.

— Мозг?! В какой такой отключке? — По спине пробежал холодок, и влажный ужас зашевелился под ложечкой.

— Ты не вникай. Ни к чему.

— Так вы и пленных везете?

— Одного только.

— Дай посмотреть.

— За показ полагается расстрел. Только мне плевать. К нам расстрельную бригаду прислали. Каждого десятого, мол, за то, что позволили прорвать фронт, и за то, что, мол, покинули позиции. Такие свежие, в галифе, сапоги, как зеркала, сверкают. А тут ужастики-парашютисты. Лобковые вши то есть. Расстрельщики глянули и свихнулись все. Мы их тоже везем в смиренных рубашках.

— Так дай посмотреть.

— Пожалуйста. Силь ву пле. Везем гада в конце обоза. — Николай порылся в карманах, выудил очки с темными стеклами и протянул мне.

— Держи, — сказал он. — Просто так посмотришь — окажешься в смиренной рубашке. Башню сносит сразу! Не у всех, но рисковать не станем...

Проехала последняя повозка, и только через минуту где-то на дороге выкатилась странная конструкция. На сдвоенной повозке, запряженной парой старых, похожих на штангистов мерингов, находился кубообразный объем, покрытый черной бархатной попоной. В тех местах, где она плотно облепляла куб, виделись ребра решетки.

— В Опочке у зоопарка позаимствовали. Он, гад, стал в себя приходить. У моих санитаров до сих пор тик.

Повозку сопровождало несколько бойцов в пропыленных гимнастерках, с натянутыми противогазами и винтовками с примкнутыми штыками наизготовку.

— Главное, не бойся. — Николай легонько подтолкнул меня. — Страх — вот что отравляет жизнь. А это чистый ужас. Иди. Испытай.

Лет с десяти или одиннадцати я стал представлять бесконечность пространства. Начитавшись книг про космос, столкнувшись с понятием бесконечности, вдруг понял как-то интуитивно, что сам-то не бесконечен, а значит, смертен, значит, умру — когда-нибудь, не скоро, почти бесконечно не скоро, но все-таки. И мне становилось себя жалко. Я закрывался с головой одеялом, представлял мерцающую звездами пустоту и плакал. Скоро это стало любимым, но, слава богу, несчастным философическим развлечением. Я не испытывал страха. Страх, как дрянная водка, от него более мутит, чем пьянеешь. А ужас... Чистый ужас кристален. После философичность прошла, и началось половое созревание со своими заботами. Затем ни страха, ни ужаса. Поступив в университет на вечерний и боясь оказаться в рекрутах, к счастью, узнал о новом законе, вступившем в силу. По нему всем, кто поступил в высшие учебные заведения летом 1967 года, предоставлялась отсрочка от армии до окончания курса. То есть в моем случае до 1973 года! Показалось — навсегда. Вечность, бесконечность возникали как раз где-то в районе этого бесконечно и вечно далекого года! И все. Более никакого ужаса. Только эпизодические страхи жизни... И никакого кристалла... Суета амбиций и бестолковщина инстинктов... Хотя страх и заслонил собой ужас, что-то такое подспудное происходило, какой-то генезис ужаса все-таки получался — он выдавливался в реальную жизнь, множа немотивированные страхи. В больницах же иногда обдавала волна забытого ужаса, обжигала. Но в страхе пребывать оказывалось легче. Ждать результаты анализов. Слушать, что скажет врач. А в полночь, держась за стенку, еле волочить ноги на черную лестницу курить, цепляться за наркотик никотина из последних сил. Днем и вечером на лестничной площадке толпились куряки обоих полов, а по ночам я сидел там один. Однажды доплелся, потянул ручку на себя, открыл застекленную плоскость двери, сделал шаг. В кресле сидела красиво-молодая в пеньюаре. Полумертвый инстинкт ловко увидел линии шеи и упругих сисек. Да и коленные чашечки не остались без внимания. Девушка-девица аккуратно курила тонкую сигарету. Дым струился неровно, словно почерк Ленина. Я видел ее днем в столовой. Она казалась ничего себе, очень даже ничего себе на фоне слепых и безногих старух.

Увидев меня, она не смутилась, но и не обнаглела. Она просто констатировала без оттенков вопроса:

— Не спится, — а я ответил:

— Ноги болят, — и сел на лестничную ступеньку.

Она пожала плечами, встала, посмотрела на меня осуждающе, открыла дверь и ушла. Тут меня и накрыло. Кастрюлей ужаса обварило, как кипятком. После снова начались страхи, но ощущение запомнилось.

— Остановитесь. — Николай поднял руку, и лошади, понимавшие по-русски, затормозили.

Солдаты тут же сели на обочине и стали переговариваться, не снимая противогазов. В глухом мычании различались отдельные слога, но было видно: такие диалоги им не впервой.

— У тебя пять минут, — сказал Николай и отправился к солдатам. Мы несколько лет играли с ним в шахматы по будним дням и много до чего доигрались. До таких вещей даже, о которых не стыдно вспомнить. Но я не стану. Но то, что Медведев сопровождает плененный ужас, — это неспроста...

Проявив тактичность, они отвернулись. Я же проделал шаги и встал. Протянул руку, коснулся бархата. Он был теплый. Что-то такое же теплое, связанное с бархатом, возникло в памяти, но не приняло образа. Но нестрашное. Я нагнулся, подныривая под попону, протиснулся к решетке.

Там темно. Такое там. Звук. Неслышная нота, похожая на нерв в зубе, когда уходит боль. Ласковая в некотором смысле. И еще запах материнского молока. Но это уже запрещенный удар. И я понял: так начинается ужас. Или, точнее, используется. Мирный атом может обернуться водородным взрывом...

Ужас используется кем? Там не видно. Угадывается и чуть шевелится объем. Что-то шерстяное дышит. Затем оборвалось. Нет контакта и звуков-запахов. Даже легкий бриз, свежая прохлада, которая возникает возле кондиционера. До десяти досчитать нереально. Только до пяти...

Ужас возник в каждом кубическом сантиметре и был трогателен и почти нежен. От него могла б лопнуть голова, но это только у молодого. Потому старые и должны идти на войну — не всех ужас способен убить. Кое-кому он как рюмка рома. Или сумасшедшая баня. Или баба, от которой башню сносит. Или вдруг оказался на краю крыши. Так же кошка в полночь начинает визжать под окнами. Или когда тщеславия по яйца, а выбрали не тебя...

Вдруг звук. Не понял. Тогда он по-другому. Я так и не понял, что за существо, но догадался остаться в темноте и не видеть. Звук был похож на

радио, в котором крутят ручку, стараясь поймать станцию и настроиться. Сразу стало понятно все:

— Маленький мой. Милый. Володенька.

Тогда я и понял еще раз устройство мира и вкус бесконечности. Но теперь я был уже готов высказать это русскими словами.

— Ну и как впечатления? Живой вроде? — Николай вглядывается в меня, да и я смотрю по-новому.

Хочется сказать все, что понял. Только нет куда подходящих слов. Николай пристален. Он умеет так смотреть. Хочется, хочется, хочется. Но неожиданно вспоминается Париж и то, как я выходил на набережную острова Сен-Луи с листом бумаги и пытался рисовать Нотр-Дам. Мирная река и собачьи какашки у парапетов. Миру мир. Его так и не получилось дома. Посреди войны и возле гибели, после увиденного ужаса и в начале разговора с Николаем отчего-то уместным оказался Нотр-Дам, мой неумелый рисунок и та картина, которая возникла в мозгу во время рисования:

...желтый песчаный обрыв, открывший бледные прожилки травяных корней, а под дерном у края обрыва — обрубленные сосновые корни, торчащие из сырого песка. По корням струятся муравьи, поблескивая темными тельцами. Крупное сосновое тело над обрывом. По коре ниже свежей зарубки сочится смола, словно капельки солнца. И само солнце где-то за спиной пялится знойно на солнечный песок обрыва, и сосны уходят рядами в жаркий полумрак леса. Тяжелые ягоды голубики клонят кустики. Пахнет хвоей, пересошим мхом. Судорожно перед глазами мелькнет испуганная птица, и более ничего не выдаст тревоги, ее, собственно, и нет в этом сосновом лесу, как нет и спокойствия. Здесь и тишина, но в тишине звоночек комариный, и хруст ветки, и шелест ветра в вершинах, и над лесом стойким метрономом поет жизнь кукушка; здесь и скрытая война — вон дятел, бодро постукивая, несет кончину древесным жучкам, а в серебряной паутине нашла смерть муха.

Тропинка, смягченная сухими иголками, причудливо петляя, спускается в зеленую ольховую тень. В низине мох вырастает кочками, сочащимися влагой. Во мху теряется сухая тропинка; сосны остановились на полпути, словно в нерешительности. Приходит предчувствие ручья. Уже, кажется, сочится в воздухе его мерный плеск. Вот и ручей. Заботливо переброшена через него неструганая, подгнившая снизу доска. Ручей несет песчинки, несет и несет, горсть за горстью приносит песчинки, останавливая неторопливый бег воды, а запрудив, ищет путь окольный, и находит поблизости, и опять — горсть за горстью. Кривые и чахлые без

солнца кусты, выросшие из песка. За ручьем опять мох и голубика, вот и тропинка поднимается в горку. Еще несколько шагов, и редет сосняк, и обрыв за соснами — долгая, убегающая вниз полоса песка, кажущаяся в полдень солнечным широким потоком. За потоком же вовсе другой лес, не такой, как у ручья и тропинки, но серо-зеленый сплошняк до горизонта, скрепленный с горизонтом и небом далекими облаками... И тут оказывается, что ноги устали и тяжела корзина с дюжиной потемневших на срезе моховиков. Глядишь на них, и оказывается — осень. Прислонившись к стволу, сидишь долго и пытаешься вспомнить: кто ты? сколько тебе лет? и, вообще, какое тысячелетие на дворе от сотворения мира? Достоешь спичечный коробок с солью, и читаешь на нем этикетку о вреде куренья, и сразу вспоминаешь: тысячелетие твое самое подходящее, и вспоминаешь, кто ты сам: словно в осеннем ручье мертвые листья, всплывают горести и обиды, заботы, но и от них хорошо, они наполняют плоть смыслом. Вспоминается и ватник, тесноватый в плечах, взятый у соседа. И следует вставать и нести дюжину моховиков в дом, жарить их и есть, нахваливая, как поджарены они, но что-то задерживает. Все сидишь и сидишь, осязая спиной через ватник лопнувшую твердь коры, хочется, так сладко и упоительно хочется побыть вне времени и этикеточных призывов; может быть, очнуться после белоголовым подростком со слабыми руками, и чтобы дед, твой веселый дед Северин, шел впереди, и подшучивал, и находил за тебя грибы, и говорил, смеясь: “Вот же, вот! Это же твой гриб, а опять я его нашел. Учись искать грибы! А после остальному научишься...”

— Ну как впечатления? Живой вроде? — спрашивает Николай.

Солдаты так и сидят на обочине, не снимая противогазов.

Я только пожимаю плечами, не находя слов.

Солнце в небе, как надраенная бляха, и по-настоящему жарко.

Из кустов показывается Костя.

— Эй! — кричит он. — Хватит балдеть тут! Обеденный перерыв!

Теперь у нас с Николаем затикало разное время. Его солдаты поднимаются и идут к клетке.

Мерины — штангисты трогаются, и ужас уже несколько отдаляется от меня.

Николай протягивает ладонь, и я жму ее, задерживаю на миг. Длиться бы мигу и длиться. Николай смотрит на меня. Его взгляд формален, поскольку наши тела еще рядом друг с другом, а встреча прошла. Что-то последнее еще есть. Все тоньше и тоньше, будто тянешь жвачку изо рта. Раз — и порвалась, сука.

— Увидимся, — говорит друг.

Он трусит по пыли, догоняя повозку.
— Увидимся, — отвечаю ему и не верю.

Глава шестая

Попечительский совет собирался начать разбор Колюниного и поварского дела в полдень. Сейчас уже три часа дня, но о результатах ничего не слышно. Я повалялся на жестких нарах и даже успел подремать.

— Пойдем кашу лопать! Нам оставили! — Костя разбудил меня радостным сообщением.

Я спустил ноги с лежбища на каменный пол и достал из тумбочки флакон актрапида. Прислушался к телу, стараясь узнать аппетит, оценил его и вмазал себе восемь единиц в жировую складку на животе. Одноразовые шприцы приходится экономить, и, когда втыкаешь шприц десятый раз, получается довольно больно.

Столовая находилась тут же на первом уровне, занимая, как и наша вторая рота, каземат. Бойцы отобедали в два и теперь грелись в крепостном дворе на солнышке. Огромный детина в пилотке метнул нам в алюминиевые миски по поварешке серого вещества, похожего на цементный раствор. Подхватив еще по стакану с трогательным, почти пионерским компотом, мы уселись с Костей за длинный армейский стол и стали есть.

— А вкусно! — сказал Костя. — Хотя и похоже на говно.

— Да, — пришлось согласиться, — дело не во внешнем облике, а в сути объекта.

— Говорят, что скоро наступит развязка.

Эта фраза явно принадлежала не Забейде. Он произнес ее серьезно и деловито, до конца не понимая полного смысла.

— Кто говорит? Какая развязка?

— Вроде бы Петров с нашим Березовским ездили в Систо-Палкино, в штаб. Туда принесли псковского генерала с откушенными ногами.

— Не надо верить откушенным.

— Это верно. Но народ хочет знать! Чем воевать? Где правительство? Поддержало ли нас НАТО? В каком случае и когда положена увольнительная домой?

— Где это ты такого успел послушаться?

— Народ во дворе базарит.

По выцветшей клеенке, покрывавшей стол, прошагал таракан. Он даже не посмотрел в нашу сторону. Путь насекомого был прям, точен, выверен тысячами и полностью осмыслен. Так бы мне, так бы всем нам. Я

посмотрел на соседа. Он замолчал и теперь сосредоточенно поедал кашу. Какое-никакое лицо! Почти у каждого такое становится на склоне лет, отражая никак прожитую жизнь. Хотя Забейда рассказывал о генетических бурях, о том, как родился он с черными до плеч волосами, а к десяти годам стал белокурый, затем снова потемнел, после превратился в каштанового и вьющегося. К сорока годам волосы выпрямились, поседели и голова наполовину оплешивела. И еще при рождении у Константина имелся удивительный атавизм — жабра. Она усохла, стала латентной, и вдруг лет в тридцать, как осложнение после гриппа, появилась снова. “Тебя надо в подводные диверсаны”, — сказал я однажды, когда мы в очередной раз стояли в дозоре. “Это тебя надо в подводные, — обиделся человек. — А меня не надо”. Столько всего в каждом рожденном, в каждом ребенке. Все меньше потом и меньше. А когда уже почти ничего не остается, тогда и надо идти воевать, чтобы поймать последний смысл и кайф...

Из коридора донесся шум — это с дюжину бойцов тяжело пробежало по каменным плитам. Ударил о порог входная дверь. Стало слышно, как во дворе задвигалась человеческая масса. В ее едином теле обрывалось частное, оставалось общее — голод, страх, скука и любопытство.

— Пойдем-ка, — говорю я, и Костя кивает согласно, соскребает со дна последнюю ложку каши, пихает в рот, глотает и говорит:

— Я забил для нас пару лучших мест.

На земляном утрамбованном дворе крепости народ сидел поротно, хотя никто и не обязывал его к подобной самурайской дисциплине. Недоукомплектованные роты походили больше на взводы, а само собрание — на казачий круг. Табачный дым напоминал о пожарах и пепелищах. Солнце вылупилось, интересуясь происходящим. Я прибавил шагу, и мы с Костей уселись в первом ряду, где мой напарник действительно занял места. Судя по лицам бойцов, предстоящее должно было выполнить роль зрелища, дополняющего полученные хлеба и компенсирующего невыдаваемую вторую неделю водку. В нескольких метрах от нас находился составленный из нескольких кухонных и укутанный кумачом стол. Посреди него на пластмассовом подносе красовался графин в окружение граненых стаканов. Не успели мы устроиться на теплой земле, как из-за кованых дверей детинца, где заседал попечительский совет, появились двое старичков с горнами, задрали к небу серебряные трубы и, вздрагивая дряблыми подбородками, сыграли что-то тревожное, вызывая в памяти странным образом фильм “Гамлет”. Но не принц датский и его дядя возникли в дверях, а понурый Колюня, ведомый молодчиками из спецкогорты попечительского совета. На фоне желтого и синего дня

арестованный выглядел как жалкий червь, оказавшийся под слоем дерна, перевернутого лопатой. Только он не извивался, шел, опустив голову, на угреватом лице читалось “молчание ума”. Этаким Шри Ауробиндо. За Колюней пенделями вытолкали поварского мужичка, которого вроде звали Анатолием Анатольевичем. Правда, на кухне к нему чаще обращались по кличке Дрочило, переводившейся с украинского как Ласковый. Чем он такое обращение заслужил, не ясно — теперь мог за излишнюю ласковость пострадать. Подсудимых и арестованных принудили встать на колени. Ласковый-Дрочило оказался в двух метрах от меня, и я разглядел у него на шее веревку — ее конец держал дюжий охранник из когорты, которого можно было бы назвать человеком с лицом утонувшей рыбы.

Рядовые как-то разом притихли, даже курить перестали. Из детинца стремительно выкатили Иванов, Петров, Сидоров и наш ротный Рабинович-Березовский. Молоденький лейтенант семенил за ними, держа под мышкой папочку на тесемках.

— Они что, — Забейда ткнул меня локтем в бок, — по-настоящему? Совсем охерели братки.

— С чего ты взял, будто они тебе братки?

— Да я так. — Костя только пожал плечами.

Все уселись за стол. Только Петров не сел. Это был большой, почти толстый мужчина с круглой головой и лиловатым апоплексическим лицом, перечеркнутым грубым шрамом. Тот проходит от виска через щеку ко рту, создавая эффект заячьей губы. Резким движением Петров схватил графин и опрокинул над стаканом. Выпил воду залпом и произнес на удивление высоким, почти добрым голосом:

— Решением попечительского совета и в силу полномочий, данных центром...

Петров сделал паузу и так же стремительно проглотил еще один стакан воды.

— Да, центром, — продолжил он. — Но не только! Но самой логикой событий... Когда озверелый враг, когда темный ужас... Волею совета с сегодняшнего дня я объявляюсь диктатором обороны!

— Ни хрена себе, — кто-то непроизвольно выдохнул в тишине.

Тишина стала еще более прозрачной. Петров сел, а Иванов встал, Сидоров наклонился к лейтенанту, зашевелил губами, а Рабинович-Березовский закрыл глаза.

— Победа невозможна, когда гниение и разложение поражают ряды, — начал Иванов. — Положив предел, мы сохраняем главное — нашу боеспособность, способность сохранить жизнь и будущее женам и детям.

Родине!

Иванов произносил слова мягко, даже округло, комфортным баритоном. У Сидорова тощее лицо дернулось тиком, молоденький лейтенант безостановочно тягал тесемки на папке, а наш ротный продолжал сидеть с закрытыми глазами.

— Пренебрегая законами военного времени и будучи предупрежден, рядовой Николай Морокканов, вместо того чтобы со своими боевыми товарищами рыть окопы... Этот человек проник в охраняемое помещение и усугубил ведро. Именно ведро! Поставив под удар возможную дисциплину и поставив Адмиралтейский островной полк на грань! Вы все это видели и доказательства имелись на лицо. В то же время Анатолий Дрочило, то есть я хотел сказать, Анатолий Кучерявый из продовольственного дивизиона посягнул на самое святое. На то, что мы и должны защищать, за что должны умереть... За наш народ! — Иванов скомандовал, и из детинца, вежливо придерживая за локоть, привели женщину без возраста в ситцевой засаленной юбке, вязаной кофточке и с плохо расчесанными волосами. Это и была деревенская Мотья.

— Госпожа Дровяная, вы слышите меня? — спросил Иванов.

— Му-му! — откликнулась бедная немая.

— Вина доказана и признана. Но правила демократической диктатуры требуют публичности. Повторите, как сможете.

Мотья Дровяная взмахнула руками, ударила левой по правой, согнув в локте и изобразив известную фигуру. После промычала незлобиво, снова взмахнула, словно желая улететь, но осталась на земле. Приземлила левую ладонь на передке, похлопала несколько раз для убедительности, дав полное представление о сюжете, исполненном Дрочилой.

Немую тут же увели в детинец. Со стороны залива на синее небо выплыла под белыми покойницкими парусами эскадра кучевых облаков, и желтого солнца стало меньше.

Тем временем Иванов сел. Ему на смену поднялся наш ротный Рабинович-Березовский, постоял с закрытыми глазами, открыл, сказал так, словно старался отделаться от заявления как можно быстрее:

— Подсудимым предоставляется последнее слово.

Конвойные потянули за веревки, поднимая с земли Колюню и Дрочилу-Ласкового. Первым было велено говорить алкоголику. Я его таким потерянным никогда не видел, поскольку появлялся он всегда пьяный, нагло и заискивающе прося денег. Теперь это был совсем другой и уже совсем непривычный человек. Да и фамилии я его не знал. Кто мог подумать, что у этого русого простолюдина она такая экзотическая и

жаркая.

— Простите, товарищи, — сказал он малоубедительно и еле ворочая языком. — Я не хотел... То есть, я хотел... Какое там ведро... И половины не было... Все.

Колюня сразу же уселся на землю и закрыл лицо руками.

Дрочило оказался поговорливей. Изобразив средневековый поясной поклон и уронив руку до кончиков раздолбанных сапог, поднявшись затем и подбоченясь, виноватый проговорил аргументы, полные убедительной простоты:

— Братья по оружию! Я не стану отрицать вины, хотя кто сможет и посмеет назвать преступным мое патриотическое желание иметь сношения с женщиной! С козой, что ли, вступить в противоестественную связь?

После такого вступления в ротах одобрительно зашептали, а насильник тем временем продолжал:

— Да и как прикажете оценить отказ предъявленной женщины! Воину-защитнику, идущему на лютую смерть, она говорит...

— Она немая, подсудимый, — поправил ротный.

— И это так! — подхватил подсудимый. — Она не говорит, а просто мычит. И это мычание, которое теперь мне предъявляют как отказ, вполне возможно воспринять и за согласие, за долгожданное “да”. С этим пониманием я и приступил к делу. Поскольку человеку, потерявшему желание иметь женщину, нечего делать на поле брани. И что я получил? Со мной обращались как с врагом. Удар по яйцам я получил, а не патриотическое, пускай и немытое, лоно, которое мы, народ, справедливо называем п...ой! Интересно, как бы эта женщина, эта немая поступила, окажись она, не дай бог, на оккупированной территории? Так же была б по яйцам врага или уступила от страха с первого раза? На этом риторическом вопросе я и обрываю речь, считая себя невиновным!

Начавшиеся было аплодисменты остановил наш Соломон Моисеевич. Он поднял руку, и все замолчали. Тогда Рабинович-Березовский сел, и его место занял Сидоров, коротенький господин с непропорционально большой головой. Лейтенант услужливо протянул ему папку, из которой тот достал лист бумаги, положил саму папку на кумач стола, пошарил в карманах гимнастерки, вынул пенсне, посадил на переносицу, сосредоточился и зачитал:

— Такого-то числа, месяца и года. Трибунал крепостного суда Второго Адмиралтейского пехотного островного полка. Приговор. Объективно рассмотрев дела и руководствуясь наивысшим благом, суд постановил: Николая Ивановича Морокканова и Анатолия Анатольевича Кучерявого за

преступления, несовместимые с жизнью, приговорить к высшей мере — казни через повешение. Учитывая отсутствие предыдущих судимостей и сотрудничество в ходе расследованиях, суд постановляет заменить повешение на почетный расстрел, который совершат товарищи по оружию не позднее сорока восьми часов после оглашения приговора. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Подписи: диктатор Петров, вице-диктаторы Иванов, Сидоров, Рабинович-Березовский, секретарь диктатората младший лейтенант И. И. Колотый.

Сидоров убрал листок в папку и сел. В сложившейся тишине повисло ожидание. Казалось, и сидящий суд, и сидящие осужденные, и сидящие бойцы чего-то ждут. То ли пробуждения из кошмарного сна, то ли гонца из столицы с помилованием. Но ничего не случилось. Тогда Петров резко поднялся и властным тенором сказал:

— Каждая рота делегирует в расстрельную команду по одному бойцу! Будет брошен жребий!

С жребием предполагалось разобраться ротным. Полк распустили, объявив свободное время, хотя им особенно не воспользуешься в охраняемой тесноте крепости. Сразу как-то заболели стопы, захотелось снять ботинки и носки. Я прохожу анфиладой и вижу народ, бродящий без цели по двору. На лицах мало что написано, но кое-что можно прочесть: хмурая подавленность постепенно мимикрировала в злобную решительность. Движения бойцов становились резче, уже они махали воинственно руками. Вялое роение приобретало осмысленные и злобные формы. Возможно, это мне так казалось, и все имело отношение не к толпе, а ко мне самому...

Для того чтобы пройти в казарму роты, следовало через анфиладу войти в двери и спуститься в полуподвал. Не успеваю я добраться до дверей, как кто-то догоняет меня и кладет на плечо руку. Вздвогнув, я останавливаюсь и оборачиваюсь. Это наш ротный Рабинович-Березовский.

— Владимир Ольгердович.

— Я вас слушаю, Соломон Моисеевич.

— Прогуляемся, — говорит он, и мы начинаем ходить туда-сюда по каменным плитам.

Что— то такое мелькнуло в мозгу про Флоренцию, про Возрождение, про дискуссии великих мужей, про Макиавелли и Джакомо Медичи, какая-та, одним словом, мимолетная фигня.

— Вы, как я знаю, разумный человек.

“Откуда он знает?”

— То, что сегодня произошло, — это, конечно, чудовищно.

Чудовищно, но справедливо. Это своеобразная жертва на алтарь войны. Первая кровь должна пролиться “до”. Если ее увидеть только во время настоящего боя, то будет поздно. Отчасти и на этом у древних зиждился обряд жертвоприношения.

Мы доходим до тупичка, где анфилада заканчивается стеной, и поворачиваем обратно.

— Все это так, — соглашаюсь я, — но не опасаетесь ли вы, Соломон Моисеевич, что рядовые воины не внемлют доводам попечительского совета, а возьмут и прибьют вас собственными руками?

— Именно такого сценария я и опасуюсь, Владимир Ольгердович.

— Так возьмите и переиграйте приговор. Отправьте осужденных мудаков в другую часть.

— Боюсь, что такая комбинация не пройдет, но я что-нибудь придумаю. По большому счету приговоренный Кучерявый прав. Солдат должен иметь женщину — свою или чужую. Добровольно или насильно. Мы же не хотим, чтобы они начали иметь друг друга! Импотенты тоже не нужны. Они станут трупами еще до того, как выйдут на позиции!... — Ротный останавливается и замолкает. Видно, как гаснет его интерес к моей персоне. — Хорошо, было крайне интересно и полезно узнать ваше мнение, — проговаривает он.

Мы раскланиваемся и расходимся. Не успеваю я пройти и десяти метров, как за спиной раздается властный оклик Рабиновича-Березовского. Оборачиваюсь и вижу лезвие взгляда и тонкие губы, вздрагивающие то ли от напряжения, то ли от ненависти.

— Рядовой, — произносит он металлически, — через полчаса сбор роты в казарме. Будем бросать жребий!

— Да, мой командир! — кричу в ответ, разворачиваюсь по уставу и иду прочь.

Лежу на армейских нарах, а напротив меня дрыхнет жилистый и мрачный, чьего имени я никак не могу запомнить. Да и незачем. Половина лежащих мест занята, но никто не разговаривает, занятый своим сном, или мыслями, или ненавистью. Наконец-то удалось снять носки. Пальцы, пятки, ахиллы, битые-перебитые, милые мои. Я их глажу и растираю не потому, что люблю, — просто так становится легче. А когда-то они, мои ноги, были настоящие. Про то, какой я в юные годы был супер, вспоминать уже как-то и неприлично.

Растирай или не растирай, все равно они болят и отекают, а когда смотришь кино, в котором по морде с разбегу бьют ногами, то становится больно. Не голове, а ногам. Но здесь не кино, а реальность ротного

подвала. Нехорошее напряжение витает в воздухе. Тут жребий еще. Пришел Рабинович-Березовский, и мы разыграли, тащили свернутые бумажки из фетровой шляпы.

Развернул и увидел крестик. Убивать Колюню выпало мне.

— И еще! — Ротный наполнил лицо противоестественной шаловливостью. — Вечером плановый выезд в бордель! Надеюсь, никто ничего не имеет против?

— Никто, — сказал я.

— Ничего! — согласились товарищи по оружию.

Глава седьмая

Как пьяного качает лишняя рюмка, так и нас трясет под тентом грузовика. Но скоро “Урал” вырубивает на шоссе и катит в тыл. Так ротный реализует план психологической реабилитации и нравственной адаптации. Бойцов следовало филигранно провести между Сциллой ритуального убийства и Харибдой осознания собственной неумолимой гибели. Только я не понимаю проблемы. Расстрелять Колюню и Дрочилу? Расстреляем со стопроцентным попаданием! Смерть получится быстрой и щадящей. Затем засранцев заруют в землю возле крепости и установят кресты с пятиконечными красноармейскими звездами...

Костя Забейда начинает кемарить, сползает на меня тяжелым боком.

— Эй, — говорю и стараюсь отодвинуть засыпающее тело, — скоро навалишься на что-нибудь подходящее.

— Что? — Он вздрагивает и приходит в себя. — Где? Которая?

Бойцы посмеиваются над Костиными вопросами, и так, со смешками, проходит время. Теперь вечер. И темнота, наступившая вокруг, была живой и мирной. В ней присутствовали оттенки: то встречная машина вырезала фарой желтый сырненький круг, то еще какие всполохи возникали в районе неба...

Вот я и говорю, то есть думаю, вспоминаю, точнее, как ходил с сыном в планетарий. Там, между станцией метро “Горьковская” и зоопарком, мы сидели в зале и смотрели, как в темноте на потолке крутились планеты и струился Млечный Путь. После в музейнообразном коридорчике молодежавый и веселый работник рассказал детям и их родителям то, что я уже знал из популярной литературы. Теперь ученые считают, что когда-то давно не было ничего — ни материи, ни времени. Существовала некая точка, в которой произошел первоначальный взрыв, потекло то, называемое временем, полетело в разные стороны то, называемое нами материей, образовались по мере разлетания пространство, звезды, галактики, мы. Так и живет Бытие. На этом объяснение заканчивалось. И оно составляло лишь одну часть правды. Вторая иногда вспыхивала ни с того ни с сего. Так чиркают спичками в чулане — не успеваешь по контурам узнать предметы. Стоило попасть на войну, чтобы от ужаса понять все до конца. Совершенно ясно, что Бытие живет наподобие дыхания, туда-сюда, вдох-выдох — живое Бытие полового акта высшей материи доказывает мою теорию... Перед взрывом-выдохом обязан был случиться вдох, когда все устремилось и

слилось в единой точке. И вот что получается, господа хорошие, — нахождение в первоначальной точке, в нуле, в полном выдохе, и есть Смерть, а Жизнь — когда время-материя летит. Но летит она не навсегда, а в определенный момент разлетается до степени Бесконечности, до лежащей восьмерки. И тогда, после полного выдоха, опять случается Смерть. Затем следует взрыв-вдох, и все полетело от восьмерки к нулю. Это общая схема, но у каждого человека Смерти-Жизни, вдохов-выдохов, бессчетное множество, никаких мозгов понять все не хватит. Но даже малого ума хватит понять мой спасительный ужас... Смерть и Жизнь замешаны на летальности. Обратимы они. И отличаются друг от друга, как куколка от бабочки...

Мы заканчиваем путь. Вот он, желанный тыл. Тут темно не от отсутствия событий, а от светомаскировки. На поселковой площади во мраке перемещаются человеческие массы. В невидимых динамиках орет Земфира песню про то, какой “он, мол, мой — не мой”. Наш грузовик останавливается, и тут же через полминуты в кузове возникает голова ротного.

— Ну что, молодчики! — В его голосе слышна не свойственная ему игривость на грани похабности. — Пошевелим телами? Вздвогнем духом? Я достал талоны в кабаре-клуб “Страх и ужас”.

— А на выпивку? — спросили из недр кузова.

— Тут, парни, деньги не действуют! А выпивка входит в стоимость талона.

Взбодренные обещанием, мужики со вздохами стали выкарабкиваться из грузовика на землю. Светомаскировка оказалась не абсолютной — везде выскальзывали лучики, вспыхивали фары, светили зажигалки. Название тылового поселка было засекречено, но, по всей видимости, он находился на сплетении железнодорожных и шоссейных путей. Чуть в сторонке ухали паровозы-тепловозы, а по площади на прицепах прокатили несколько длинношеих гаубиц.

В ротной массе чувствовалась анемичность, приобретенная за время сидения в Копорской крепости. Но вице-диктатор полка пресек гибельную застенчивость, крикнув:

— Глядеть молодцом! Подбородок вверх! Навести шороху от имени Адмиралтейского полка! Это приказ! Приказ военного времени! Ясно я говорю?

— Так точно! — неожиданно вместе выдохнула рота.

Казалось, Рабинович-Березовский не бывал тут никогда, но знал все входы и выходы, стопроцентно ориентируясь даже в темноте. Обогнув

смелой дугой автостоянку и группы ждущих приказа рядовых, мы прогарцевали по рыхлой темноте и скоро приблизились к стандартной “стекляшке” двухэтажного продовольственного магазина.

Чувствовалось, как внутри “стекляшки” вздрагивает, булькает и кипит жизнь. От приглушенных басов прогибались стекла витрин, казалось, биологический жар разгоряченных тел подогревал пространство. Возле дверей стояли унылые группы солдат неизвестных родов войск. Ротный по-хозяйски провел нас к дверям, протянул билетика спецназовцу, загораживающему путь, и пятидесятилетних в среднем дядек пропустили в клуб-казино “Страх и ужас”, словно школьников на детский утренник.

Внутри кипели тропики. Точнее сказать, тропический лес — все тут росло, колыхалось и воняло. В нос ударил запах человеческих тел, перегоревшего алкоголя, сортиров и выпрыснутого семени. На первом этаже находилась длинная стойка бара. По ней бармен пулял сидящим перед ней полные стаканчики. Остальное пространство оказалось разбитым хитроумным лабиринтом на закутки со столами и стульями. В противоположном от бара углу в красных лучах женщина без штанов вертелась вокруг металлической стойки. Она терлась о железо эрогенными зонами, и неумелость движений компенсировалась искренностью. Мужики возбуждались, как могли, более нажимая на выпивку. Мест не хватало, и многие сидели на полу. Некоторые уже лежали. На второй этаж вела лестница, подсвечиваемая разноцветными лампочками и охраняемая спецназовцами в камуфляже. Поп-рок в динамиках вдруг оборвался, и заиграл Гимн России. Народ вскочил и стал мычать вместе. Затем все сели обратно, а кое-кто обратно упал. Ротный, вихляя бедрами, провальсировал вдоль стойки. Было не ясно, что делать, и каждый начал по-своему. Отправлявшимся утром в дозор полагался “двойной” билет. То ли двойная выпивка, то ли двойная баба. Пить не хотелось, а баб где трахать, никто не объяснил. И как? На полу, что ли? В разноцветной темноте я успел разглядеть нечто похожее на любовь: в одном из закутков перед мужчинами на карачках стояли женщины с членами в зубах и мешали пить... Но тут уже был важен не факт и качество фрикции, а состояние пространства, излучавшего само по себе, несмотря на возраст прибывавших бойцов, энергетику случайной случайки.

— Основные терапевтические услуги наверху! — кричит мне в лицо бармен, видя мою неуверенность. — А здесь химические! Давай налью коктейль номер пять!

— Что это? — спрашиваю.

— Это настойка овса, смешанная со слезами ибиса.

— С чем?

— Со слезами! Но не только. Плюс щепотка протертых земляных яблок и кагор.

Срываться в пьянство не имело смысла. Я только, что понял формулу мира, а спьяну можно и забыть. А идти трахаться как-то так ни с того ни с сего... Да и с кем? Ради каких идеалов?...

Ход рассуждений прерывает знакомый вопль. Это кричат мне из глубины лабиринта. Надоевшие до чертиков, такие необходимые сейчас, оказавшиеся в нужное время и нужном месте мудаки. Ужо они поймут мои искания смыслов!

Я продираюсь сквозь рыхлую солдатскую массу и протискиваюсь за стол.

— Вот и свиделись, — говорю. — Сидите классно.

— Твоими молитвами, — отвечает Женя Злягин и чуть сдвигает толстое тело. — Присаживайся.

Паша— Есаул поднимается из-за стола под углом в сорок пять градусов и лезет через Злягина обниматься.

— Владимир! Молодец, что живой появился.

— Молодец, — соглашаюсь и тяну руку в сторону Саши Секи.

— Да! Привет! — Саша жмет, а за ним и Серега Ухов.

Поспевают бодрые слова, под которые поднимаются рюмки. Я тоже хватаю пустой стакан и влезаю с ним в круг. Затем вскрики сквозь солдатский гул. Лишь Серега молчит в русую бородку, улыбается, посмеивается, прикрывая растительность ладошкой.

— Нас завтра сбросят в тыл на парашютах, — объясняет Паша. — Наконец я сделаю это.

Злягин обвешан странного вида мешочками с оранжевыми шнурами. И так огромный, он теперь похож на отрицательный персонаж из битловского мультфильма “Yellow submarine”.

— Что это ты за Рэмбо такой? — интересуюсь, а Женя:

— Суки, — говорит, но Паша не соглашается:

— Его, как мы тогда и решили, превратили в ловушку-приманку.

— И в бомбу одновременно, — добавляет Сека.

— В какую бомбу? — не понимаю.

— Он же заминирован, — вставляет Серега и улыбается.

— Каким образом?

— Элементарным! Можно сбросить, как на Хиросиму. Можно отправить в плен и ужастиков поубивать до фига хитростью.

— Если надоедите своими разговорами, то я вас сам всех здесь и

взорву, — мрачно проговаривает Женя.

Похоже, ему положение нравится. Нравится быть угрозой и центром внимания. За соседним столом пожилая матросня срывает бушлаты и роняет стаканы на пол. Двое устраиваются бороться на руках, и на стол летят бумажные деньги ставок. Матюги летают в таком количестве, что это уже вовсе и не брань, а лишь элементы молекул здешней атмосферы. Мат-Менделеев, мать-перемать...

— ...Нет, представьте! Гостиная в ясновельможном царскосельском особнячке с двумя колоннами и фронтоном, в шандалах горят дорогие белые свечи, огоньки которых лоснятся на расчехленной по случаю родственного обеда мебели красного дерева. Вот я и говорю... Звенит и сверкает столовое серебро. Громко тикают недавно выписанные из Англии напольные часы с боем, — что-то долгое втолковывает Женя, но никто не понимает о чем.

— Это ты про свое детство? — сдержанно интересуется Сека, хотя в глазах интереса нет и в помине, только холодная пустота и пьяный ум без дна.

— Какое там! Вы слушайте фразу!... Ужасного вида змеи явили удивленным, забывшим о сдержанности дворянам свои черные раздвоенные жала, обвивши мускулистые, покрытые рубцами и шрамами, заработанными в сражениях и поединках, оголенные руки. А что за звериные признаки первобытности расчерчены по местам, запретным для дамских взоров, — и представить-то боязно! — У Жени круглое лицо с тройным подбородком, поросшим щетиной, а на носу толстые линзы очков, за которыми добродушие и свирепость одновременно.

— Теперешние женские взоры ничем не устрашить, — пытаюсь я вставить фразу, но заминированный перебивает:

— Ты, спортсмен, ничего не понимаешь! Тебе бы только прыг-прыг, прыг-прыг!

— Что-то ты, дружок, многословен и, я бы сказал, гегемоничен, — заступается Паша-Есаул.

— Молчать! — взрывается нежно Женя. — А не то всех сейчас разнесу на мелкие клочья!

— Не разнесешь, — Секу не запугаешь. Он смотрит, как гиперболоид инженера Гарина. Говорит: — Чтобы выиграть сражение, нужно смотреть сквозь и дальше сражения.

— Надо смотреть сквозь пальцы на то, что не понимаешь, и давать привычные имена. — Паша склоняет бутылку над рюмками, и у него получается. — Когда эскадрон казаков покори́л Персию в шестнадцатом

году, то они не знали, как называется дыня, и дали ей привычное имя “ягода”!

— Какая в жопу “ягода”! — уже вяло сопротивляется Злягин. — Я сейчас вас взорву.

— Ну и взрывай. — Сека тянется к рюмке, и Паша тянется, и даже Ухов.

— Не взорвет, — говорит Серега. — Пока не выпьет, не взорвет.

— Пока не выпью, не взорву, — тянется Женя. — А когда выпью, тогда, может быть, и дерну за веревочку...

Хочется им рассказать про ноль и лежащую восьмерку, о том, что не все безнадежно, если понять или хотя бы поверить, что все обратимо, и наша глупость, и наша юность, что близость ужаса только приближает к повторению всего, что было, что наше пространство не оторвать от нашего времени, все только — вдох-выдох, вдох-выдох...

Я подвигаюсь к улыбающемуся и кашляющему коротким смешком Сереге. Тот наклоняется ко мне и проговаривает заговорщицким шепотом:

— Наши действия зависят от половой конституции.

— А от российской не зависят?

— Российская Конституция зависит от суммы половых конституций индивидуумов государства. Простые антропометрические показатели — отношение тотального роста к длине ноги. Что такое половая конституция? Упрощенно говоря, это совокупность специфических особенностей организма, определяющих его сексуальные потребности. След гормональных бурь, Владимир, имевших быть в организме в период его роста, запечатлется на всю жизнь так называемым трохантерным индексом. Надо рост человека поделить на длину его ноги. Среднее значение для мужчин что-то вроде 1,92-1,98.

— А у тебя какой? — спрашиваю неожиданно для себя.

— У меня самый что ни на есть средний... Для воинственных, имперских проявлений нужен индекс высокий. Такой был у Петра Первого, например.

— Что такое про Пашу? — Есаулу показалось свое имя, и он обращается к нам.

— Какой у тебя трохантерный индекс? — спрашиваю его.

— А! Серега просвещает! — Паша расправляет грудь и воинственно заявляет: — Высочайший!

— У меня, несомненно, выше высокого, — картонным, но похожим на человеческий голосом подхватывает Сека.

— Ты их не слушай, — перебивает Женя, — какой у них на хер индекс.

У меня индекс так индекс. Захочу — взорву, захочу — нет.

Сергеа приближает лицо, чтобы было возможным услышать его голос на грани шепота:

— Мужчины находятся во власти стереотипов престижности. Каждый хочет иметь то, что всем иметь невозможно. Пониженный индекс никого не прельщает, хотя под его сенью взросло множество ученых, философов и писателей.

— Так это мы философы и писатели...

В углу я разглядел телевизор. Его привинтили к стене на высоте человека со средним ростом, но повышенным трохантерным индексом. Сквозь чад и дым видно, как доблестный русский спецназ расправляется с ужастиками, лобковыми вшами, кидает-бросает вверх тормашками, вяжет, унижает, тащит в клетку. Рекламная видеокассета показывала генералов в белых кителях, стоящих вокруг президента. Тот читал текст по бумажке и казался умным, выдержанным парнем. В баре стоял гул ватт на пятьсот, и генералов с президентом не слушали.

Сергеа замечает, куда я смотрю, и начинает высмеивать и выхихикивать:

— У нас в дивизионе ходят слухи, будто президент, генералитет и олигархи погрузились на подводную лодку и теперь скрываются подо льдами Арктики.

— Они пробьют лед, — включается Сека, — и полетят на баллистической ракете встречаться с Бушем и Блэйром.

— Вся “восьмерка” соберется на орбитальной станции, и они решатся.

— На что?

— На массированную атаку малыми радиациями. И на лазерный прицел из космоса!

Продолжают пить.

Я протискиваюсь в бар и приношу бутылку слез ибиса с этикеткой Ливиза. Друзья попробовали слезы и одобрили, хотя и вязали лыко уже еле-еле. Я тоже собираюсь выпить горько-сладкой настойки, но тут возникает справедливый вопрос, вытекавший из нашего высокого индекса: идти ли к женщинам наверх?

— А знаете ли, кто они такие? — делает зверское лицо Злягин. — Это в основном старые, как и мы, женщины, отбывающие воинскую повинность. За мужей, которые по каким-либо причинам не смогли.

— Не только! — Секе не нравится речь о старухах. — Там есть и волонтеры. Волонтерши то есть! Самые нежные, говорят, самые девственные и изощренные. Настоящие лилии, бутоны и лепестки. Это

своеобразная храмовая проституция высшего пошиба!

— Не пошиба, а почина! — поправляет Паша. — Ты, дружок, пожалуйста, поаккуратней обращай со словами. Это не просто смакование созвучий и приапова игра фонетических соответствий, доводящая до обморока пуританку семантика...

Серега тихо хихикает, а Звягин срывает очки и кричит:

— Сейчас пойдем трахаться со страшной силой!

Но ему уже без помощи не подняться.

Иногда в толпе возле стойки мелькают лица солдат моей роты. Они красные, потные и по-своему счастливые. Завтра утром мне идти на расстрел. Прав Рабинович-Березовский: в этой воспаленной людской свалке про убийство думаешь безразлично.

За соседним столом трохантерный морячок всех завалил и теперь одной рукой грабастал выигранные деньги, а другой делал победные взмахи. Женя предпринял титанические усилия и оторвался от скамейки, встал, выпятив чудовищное брюхо, опутанное к тому же мешочками с пластидом, не знаю, с чем точно, с чем-то ужасно взрывчатым, чудовищно взрывающимся, способным разорвать ужас...

Он делает шаг вперед, роняет Серегу и сидевшего ближе всего к нам моряка. Паша говорит в восторге:

— А почему, собственно, стремление каждое дело решать как последнее дело своей жизни есть исключительный удел императора?

— Как идет! — подключается Сека из последних сил. — В нем маловато Блеска, зато сколько Ярости, несмотря на простолюдинский Пот!

И тогда я понимаю, что драки не миновать. Она логически вытекает из тысячелетней почти истории Московского царства, начавшейся в феодальной междоусобице, перед татарщиной, породившей в свою очередь самоистребительное холуйство. Потом так и пошло-поехало, лучше всего мы били сами себя, калечили в застенках, Сибири, дешевым мужичьим пушечным мясом выигрывали всякие войны, затем отдавали выигранное за просто так...

Надо понимать, Женя лез к морячкам показать в борьбе на руках свою трохантерную мощь. Но уронил морячка, который проигрался. Морячок, не дождавшись объяснений и галантных расшаркиваний, схватил Злягина за грудки в том месте, где того заминировали.

— Убьете сейчас, суки! — взвизгивает Сека и накрывает морячка стулом, ловко вырванным из-под собственной задницы. Атакованный превращается в студень и соскальзывает на пол, не отпуская, однако, желтого шнура-взрывателя. Женя смекает о взрыве и тоже клонится долу,

дабы шнур ненароком морячок не дернул. Они почти ложатся на пол, когда неожиданную прыть проявляет тихоня Серега. Он прыгает, как вратарь сборной, хватает голову морячка, крутит штопором, а не достигнув успеха, впивается зубами в руку, держащую Зягина за шнурок...

Когда — то я умел биться руками и ногами. В сердце даже вспыхивает красный шар адреналиновый радости -не надо идти наверх и ебаться с незнакомыми людьми! зато драться — быстрая и правильная радость в теле! ведь не ебаться мы поехали на войну, а драться! вот и дерись!...

Не успел красный шар превратиться в жаркую пелену победной атаки, как я получаю справа приличный хук по носу, от которого хотя и больно, но не страшно, поскольку подобными хуками мне нос уже два раза ломали, можно и третий, четвертый, пятый, уродство теперь не угрожает, угрожает скука, да и скука прошла, поскольку ужас много чем плох и опасен, но вот соскучиться не даст — это точно...

Получаю не сильно вроде, но плыву, словно каноэ по Волге-матушке, плыву, плыву и заплываю на пол. Хочется встать и продолжить, но не получается сразу. “Отряд не заметил потери бойца”. Драка продолжается, приобретая все большую массовость. Как писал Сека: “У многих народов, и прежде всего у народов, славившихся своей стойкостью и воинским мужеством, издревле существовали традиции, которые при поверхностном рассмотрении могут показаться просто членовредительством социального тела... В драке выбиваются зубы, ломаются кости, происходит и другая видимая деструкция; но под ней идет невидимая работа созидания — воспроизводится самодостаточность условий человеческого бытия, совершается синтез монады”. Глаза закрываются сами по себе, и за опущенными веками возникают французские картинки...

Понтов, конечно, было много: ездить к жене в Париж и делать любовь с энтузиазмом комсомольцев двадцатых годов, но зато с видом на Нотр-Дам. С Парижской богоматерью я несколько преувеличиваю, но все-таки она находилась недалеко. К собору, пройдя по узкой улице Сен-Луи и прошагав по мосту, мы ходили с сыном, когда тот хотел покататься на роликах. Про парижские понты можно вспоминать бесконечно, но я сейчас про войну, а не про чувственные наслаждения.

Кажется, всего на полтора мгновения закрыл глаза, а целая картина, целая философия... Вокруг продолжали не очень убедительно, но драться. Еще никого не убили, однако кровью измазались обильно. Меж перевернутых столов стоял шарообразный Женя, со спины его прикрывали Сека и Паша, держа стулья наперевес, а Серега стоял безоружный. Зягин одной рукой схватился за оранжевый шнур на груди, а вторую с угрозой

поднял над головой. В ней он держал вставную челюсть и очки. Кое-как зажав челюсть в рот, а очки посадив на нос, он прокричал, стараясь донести свой меседж до пожилого русского воинства:

— Всем лежать! Взорву к маме и римскому папе!

Образовалась немая сцена. Почти что “к нам едет ревизор”. Только из-за портьеры у окон доносилось обезличенное сопение затрудненных вдохов-выдохов. Так дышат мужчины, когда бегут полтора километра на время, или женщины, услаждающие себя оральным способом.

Над бомбой и сексом, над слезами ибиса, над бардаком и борделем, над черным пространством ночи завывала сирена, завершая жанровую сценку. Заметались прожектора в ночи. В стекляшке “Страх и ужаса” погас свет. Зажегся. Погас и зажегся снова. В телевизоре вместо пропаганды возникла бритая голова генерала, командующего Юго-Западным фронтом. Башка лоснилась потом. Рот открывался и закрывался, но дошло не сразу:

— Братья и сестры! В эту минуту все решите именно вы! Коварный враг свершает свои помыслы. Но ему не удастся. Одним словом, если и умирать, то теперь! Где бы вы ни были, вы переходите в распоряжение близлежащего начальства и переходите в наступление. Наше дело правое! Победа будет за нами!

“К нам едет ревизор” продолжился еще некоторое время. Потом Серега в похолодевшей тишине пожал плечами и спросил уже погасший телевизор:

— А перед нами победы не будет?

Глава восьмая

Мы с Серегой волочем Зягина и еле дышим. Впереди потерялись Паша с Секой. Вокруг нас и бегут, и волочатся. Мало что видно, но ясна кутерьма поспешания. Некоторые мужики в трусах. Вижу человека, прыгающего со второго этажа “Страх и ужаса”. Пара баб в сорочках и пара без сорочек тоже поспешают в толпе поживших. Прожектора струячат по небу, домам, людям, грузовым машинам. Дискотека, мать, под закрытым небом. Совсем темное небо. А как же почти белые ночи? Или это нас ужасом накрывает?

— Ать-два, левой! — По мостовой уже что-то похожее на организованный ход.

— Давай бросим его, — предлагаю Сереге.

— Бросьте меня, — просит Женя.

— Надо обязательно бросить, — громко шепчет Серега.

Но не бросаем. Волочем сложно сказать куда...

Теперь ясно куда. Площадь между низеньких зданий. Образовывается что-то вроде живого коридора. По инерции бега-волоченья втягиваемся в него.

— Теперь можно, — говорю, а Серега:

— Теперь или никогда, — соглашается.

— Ну же, ну же, — мычит туша Зягина. — Бросайте на хер! Меня увезут в госпиталь!

Бросаем его, то есть аккуратно укладываем на асфальт, чтобы не взорвался.

Коридор— то живой, только недружелюбный, жлобский, грубый, как диктатура пролетариата. Дюжие спецназовцы, парни не старше сорока, одетые в камуфляж и вооруженные... фиг поймешь чем вооруженные, но явно не детскими рогатками и картонными саблями... Они подгоняли бойцов матюгами и пинками. Вылившись через коридор, словно проведенные сквозь строй, оказываемся на площади в неорганизованной толпе, похожей на военнопленных из советского фильма про войну. Стали зажигаться осмысленные фонари. Толк есть, но мало смысла. “В наступление, в наступление”, -пьяная фраза, как трезвый грипп, витала в толпе. “Генерал Уродов поведет в психическую. Какую психическую? Какой Уродов? Тот, который в Чечне взорвал гору вместе с собой. Ага, а теперь равнину вместе с нами!”

Бац! Паша и Сека. У каждого по бутылке. В каждой по половине бутылки. В каждой половине бутылки по сорок градусов. В каждом градусе по эйфории. Каждая эйфория по кайфу. В каждом кайфе, может быть, все и есть...

— Я не понял, — шатается Паша.

— А я понял все, — шатается Сека.

— ...Пусть ярость благоро-одная! — затягивают впереди криво.

Ну и урод генерал Уродов! Гарцует посреди площади на черном, будто жопа эфиопа, скакуне. Цокает по асфальту и прицокивает к микрофону на стойке под фонарем. Становится ясно, что:

— Грозный враг на последнем издыхании смял инвалидный глубокоэшелонированный тыл! Но не просто так безболезненно! Найденное противоядие врубило оккупантам подо Ржевом, и теперь связь Смольного с Кремлем восстановлена, и первую дюжину пленных врагов с почетом позора провели мимо Мавзолея! Он не держит психическую! Он, тварь, не может глаза в глаза! — Коняка-лошадь становится на дыбы, и уродливый рот Уродова покидает микрофонную зону. С генерала сваливается папаха. Один — слепой — глаз перевязан черной, тоже как жопа эфиопа, лентой. Как жопа прадедушки Пушкина, который где-то в этих (или не этих) местах мордовал своих жен. Если лента на — Пушкина, то в сумме на — Кутузова, а Уродов на вздыбившемся коне в меньшей степени на Медного всадника, а в большей — на Чапаева. К тому же психическая атака. Но ведь это белые шли на красных...

Медный— Кутузов-Чапаев снова возле микрофона, и тем, кто не пьян в дробадан, становится ясна суть:

— Получив винтовки! У вас появится! Редкая по красоте возможность! Умереть, как вы и хотели! Глаза в глаза и штык в штык! Перед вами будут выброшены расстрельные роты! А вы закроете грудью! Жен и детей, деток и внучек!

На площади разом вспыхивают все фонари, и становится красиво. Свет растворяет генерала, и теперь не до него. Опять пихают вперед.

— Эй! — кричу Паше и Секе.

— Эй! — кричит Серега.

— А Женя где?! — кричит Паша.

— В госпитале! — кричит Серега.

— Он сильно болен! — кивает Сека.

Мы оказываемся у крытых брезентом грузовиков. Ими забита примыкающая к площади улочка. И тут фонари и прожектора. Такое вот белое солнце пустыни. Кое-где мелькают знакомые лица. Это рота родная,

как “Родная речь”. Вот и Соломон Моисеевич. У ротного кровоподтек под глазом и шишка на лбу.

— Получивший получит патроны, которые в кузове! Братъ и запрыгивать! Сидеть и ждать! Порядок и смысл! — Рабинович-Березовский опять при деле, а дело его в продолговатых зеленых ящиках.

Логика суеты разделяет бойцов на очереди, образовавшиеся возле каждой машины. Это раздают винтовки. Свеженькие, промасленные целки, произведенные к весеннему наступлению 1917 года, но так и оставшиеся в подвалах Путиловского и востребованные только сейчас.

Хватаю винтовку.

— Как покуролесили? — успеваю спросить и услышать ответ:

— Во всем должен быть порядок и смысл.

— А кто теперь расстреляет Колюню Морокканова?

— От крепости не осталось даже мокрого места.

— А сухого?

— Нам повезло. Так везет только раз в жизни.

— Или в смерти.

Сека и Паша уже стоят с винтовками через плечо, а Серега еще выуживет из ящика. Мы забираемся в кузов, помогая друг другу, и занимаем места на скамеечках возле бортов. Под тентом уютно, словно в турпоходе на Вуоксе, когда вне палатки дождь, а внутри сыро и тепло. Незнакомые мужики лезут в кузов, рассаживаются кто куда. Даже становится тесно. Рычит мотор, поедem вот-вот.

— Стой! — кричат с улицы.

Шебаршение снаружи, и чем-то тяжелым и мягким колотят в борт.

— Места нету!

— Нормально! — доносится с улицы. — Получайте фрукт! Овощ ананас!

Несколько человек кряхтят и поднимают, переваливают через борт. Сквозь распахнутый брезент вонзается свет. Женя Злягин оказывается в кузове как раз возле наших ног. Машина дергается, и мир сдвигается.

— Сестренка, сделай укол не больно, — Злягин бормочет в дреме, затем затихает, а когда мы выкатываем из городка на шоссе, начинает храпеть.

Кажется, всего три раза в жизни я ощущал с миром полную гармонию, знание своего в нем места и удовлетворения им. Однажды в ресторане Дома писателей на Шпалерной, в окна которого через Неву смотрела революционная “Аврора”, в девятичасовой колбасе, сидя спиной к крейсеру, выпив в сумме граммов семьсот водки, но не залпом — сквозь

чахоточный табачный дым вглядываясь в шум-гам, и ощущая себя полноценным участником ярмарки тщеславия, и отлетев от нее на расстояние семисот граммов — именно тогда вдруг в мире, к которому постоянно имел претензии, все встало на правильные и приятные места, остановилось, давая себя разглядеть и полюбоваться — в картинке быстро сбился фокус и захотелось ненависти, — пошел прочь и, выйдя на улицу, через десять метров упал в открытый люк, но литература спасла, точнее, книги спасли, купленные перед тем в Лавке писателей на Невском в спецотделе, тогда еще они являлись дефицитом — книги в Доме писателей скупал референт, я и принес ему книги, но референта не оказалось, все равно нашел способ убрать семьсот граммов, а книги, положенные в рюкзак, после спасли жизнь... Отпадаешь, вкусно вспотевший, исполнивший свой трохантерный индекс, то есть предназначение, то есть основной инстинкт, которым наделен по набору хромосом, то есть понятно, о чем речь, то есть получилось все по гамбургскому счету, то есть совпали жидкости, то есть не всегда так выходило, но иногда, черт возьми, получалось. А рядом любимое тело, раздавленное, как пластилин, наполовину вытекшее из лона, будто Волга. И тогда долгая, долгая, долгая, долгая, бесконечно долгая секунда короткой пустоты. В ней нет претензий и гордыни. Просто так лежишь бесконечную секунду, и она, сволочь, улетучивается — эфир, Гвадалквивир... Но однажды давно вовсе не пограничная была в ярославской глубинке. Там я, Мишка Летающий Сустав и Одна Девушка. Мы умотали туда за тысячу километров по наводке-просьбе одного рисовальщика, имевшего бабушку в глубинке, просившего отвезти ей килограмм леденцов и вафельный торт, а взамен взять мешок икон. Предполагалось получить половину, продать и купить гитары. Мы проехали, прошли пешком тысячу, нашли деревню, но не нашли бабушку. Видать, рисовальщик в последнюю минуту замотился и обманул, хотя чертеж был точным: излом дороги, название деревень и речки. Только такой бабушки не оказалось. И мы без гроша возле медленной речки, по пояс всего воды. Ходим по воде, разбредаемся, лежим в воде, сидим то на одном берегу, то на другом. Мягкий песочек и нежные рыбешки. Солнце над нами, русское небо, ни людей, ни скотов, ничего впереди, кроме вечной жизни и дружбы без заморочек. И так длился день. Он длился и длился, длился и длился, длился, длился, длился навсегда и все-таки прошел. Началось другое с другими кайфами, найденными иконами, ночным вороватым бегством мимо городка Середа, потом в Ярославле сдали алтарные доски, завернутые в украденную простынь, в камеру хранения, перед которой улыбчивый мент спросил: “Туристы,

парни?” — “Разборные плоты”, — ответил Мишка, а Девушка улыбнулась. И мы постелили газету “Комсомольская правда” на каменный вокзальный пол и легли втроем, заснули сразу, поскольку устали, а утром нашли копеечку и купили стакан газированной воды без сиропа. Лежа на пляже, хотели есть. Обнаружили местного хиппаря и продали ему американскую футболку, Девушка свою продала, с надписью по-английски “Ангелы ада”. Купили три литра молока, три батона, а на сдачу поехали в Москву. Но это получалось уже не то, не та гармония, не гармония вовсе, а суэта биологических тел. И только после значимость остановившийся речки, в которую можно было вступать тысячу раз, канонизировалась, по крайней мере для меня. Теперь в ней и в нем нельзя исправить ни черточки. Было это в одна тысяча девятьсот семьдесят первом году. Теперь Мишка Летающий Сустав в Нью-Йорке, а Одна Девушка неизвестно где...

Где я? Неизвестно. Но, кроме меня, тут еще имеются мы. Нас бесконечно катят в “Урале”. Никто не рыпается. Все заснули, как только дизельная махина выкатилась из городка. Сперва сзади догоняли яркие фары, но скоро огни рассосались, и мы ехали в одиночестве. Или просто все фары выключили для конспирации — все равно небо уже не темнело ночью до упора. Или просто я сам спал и ночь профукал. Теперь явственное утро, а грузовик все остановиться не может. Народ постепенно оживает. Паша с Секой покуда спят, повесив головы, а заминированный Женя продолжает дрыхнуть у откидного борта без задних и передних ног. Не храпит даже, но дышит. После пробуждения мизантропия становится утонченной — ненавидишь людей с особой прелестью. Война войной, только люди достали. Вот их-нас немножечко на войне и поубивают... Я не такая сволочь — это просто пожилые сосуды в башке не хотят просыпаться... Да и лучше, чтобы сон. Вздригнешь, откроешь глаза — под головой родная подушка, а если повезет — и родная жена для продолжения рода. Однако род продолжен. Потому и война, потому и на войну. Умереть за продолженный род. Что ж, бодрствуем сквозь открытые веки. Придется вспомнить про бессмертие вдоха-выдоха... Серега рядом подоткнул ладошкой свой славянский курносый лик. Бородка, борода молодежная торчит из ладошки в разные стороны. Серега моложав, но по возрасту подошел, а Сека с Пашей подделали паспорта, исправляя возраст до положенных сорока пяти лет... Воины-концептуалисты... Больше никого в кузове не знаю. Нормальные народные рожи, сделанные топором...

Я опять погружаюсь в темноту дремы, в ее бессвязные красные нити и лениво просыпаюсь через сколько-то разом, когда машина резко тормозит. Сека и Паша бодры — их голоса слышны с дороги. Они командуют

парадом и откидывают заднюю часть борта. Так удобней сгружать Зягина. Мы с Серегой помогаем, как можем, а заминированный обреченно матерится. Впереди нашего “Урала” грузовичок поменьше. Из него на обочину сбрасывают несколько зеленых ящиков. Ротный, вернувший потерянное было звание, спрыгивает на асфальт после ящиков.

— Блокпост, — говорит, и мы начинаем вертеть головами.

— Где, простите... Блокпост, вы сказали? — спрашивает вежливый Серега.

— Блокпост, я сказал! — Рабинович-Березовский адекватен моменту.

Он целенаправленно шагает в сторону странного вида конструкции, и мы, подхватив винтовки, поспешаем за ним.

— А я не пойду, — ворчит Женя и садится на зеленые ящики.

Бетонные блоки, сложенные “в лапу” наподобие крестьянской избы, оказываются нашей позицией. Внутри валяются пластиковые и стеклянные бутылки.

— Мы, вообще-то, приписаны к парашютной бригаде, — мрачно начинает Сека.

— Теперь никто не приписан ни к чему! — парирует ротный. — Теперь все вперед! Взять врага на штык!

— Что значит “никто не приписан”? — не соглашается Паша. — Мы не пушечное мясо и имеем смысл! Парашюты так парашюты! Сидеть тут на куче говна? Какая отсюда может быть штыковая атака? Куда?

Ротный сбавляет обороты, понимая, что не на тех напал:

— Это все генерал! Это приказ по армии! Мы только винтики войны...

— Шпунтики! — Паша еще не протрезвел до такой степени, чтобы стать покладистым. — Вы почему здесь распоряжаетесь? Нет, мы сами собой распоряжаемся, но хотим знать общий план. Что должны делать? Когда делать? Кто составитель... то есть...

— Генерал Уродов обещал объехать фронт, отслужить молебен и выслушать жалобы. Ваш блокпост, находясь на стыке окопавшихся полков, связывает шоссе, являясь ключом обороны.

— Ах, ключом! — Паше это льстит, и он соглашается за всех. — Ладно! Выполним долг и не посраим чести.

— Вот и о’кей, — облегченно улыбается Рабинович-Березовский. — У меня еще дел невпроворот. Я же все понимаю и вас специально выбрал из оказавшегося контингента.

— Меня же в госпиталь обещали, суки! — кричит с ящиков Женя.

— Кстати сказать... — начинает Сека, но ротный не дает продолжить.

— Известное дело, какие сейчас госпиталя. Больными и увечными

заселяют самый передний край. У меня тут план... — Рабинович-Березовский достает из висящего на плече планшета сложенную в несколько раз карту. — Вот! Сто пятьдесят метров вперед по дороге. Воронка от снаряда. Там ваш больной друг и станет проходить лечение, как живая мина-ловушка.

После этих слов ротный затрусил к грузовику, из которого выпрыгивал. Он бежал, как балерина, вывернув стопы. Свершилось стопроцентное чувство — нам его более не видеть никогда.

Через минуту никого вокруг. Только такое-растакое утро: совсем солнышко проклюнулось над большим ровным полем, обрамленным кудрявыми рощами. За спиной чуть левее дороги ленивый пологий холм приподнял плоскость земли. Птица типа журавль в небе повисла над головой.

— Пойдем, — сказал Паша-Есаул, и мы пошли по шоссе вперед.

Сергея всегда любил точность и комментарии. Он считал шаги.

— Сто восемьдесят семь.

— А не соврал, гад! — Паша остановился возле аккуратной воронки, а Сека тут же спрыгнул внутрь.

— Тут уютно.

— Уютно или нет, но приказ есть приказ. — В Пашиной интонации возникли командные обертона.

— Павел, сперва следует назвать командира, — предложил я, чтобы предупредить раздражение.

— Пусть Паша станет командиром блокпоста, а Сека — комиссаром, — поддержал меня Сергей.

— Я согласен.

— И я согласен. А Женя будет диктатором авангарда.

— Авангардистом!

— Логично.

Мы вернулись к ящикам уже самоорганизовавшимся. Помогли Зягину подняться и отвели к воронке. Он не сопротивлялся и даже не матерился. Сел в яму и стал думать. Затем пошарил по карманам и достал вставную челюсть.

— Вот она! А думал, что потерял! — Женя воткнул челюсть в рот и повеселел.

Сергей спрыгнул к нему и проверил взрывчатку, провода и контакты. Когда-то он учился на инженера, и элементарные знаниягодились.

Снова вернулись к ящикам и перетаскили их к блокпосту. Открыли один и обнаружили коробки с патронами.

— Кто знает, как винтовкой пользоваться? — спросил я.

— Элементарно, — ответил Сека. — Дергаешь затвор, укладываешь патрон, задвигаешь затвор, целишься и спускаешь курок.

— А в “яблочко” или под “яблочко”? — интересуется Серега и начинает дробно хихикать, заслоняя рот ладошкой.

— Понятно! — Паша задумчиво прошелся туда-сюда по обочине. — Пора проводить учебные стрельбы.

— Логично, — согласился я.

— Абсолютно логично! — подтвердил Сека.

Серега согласно кивал и смеялся.

— Э-ге-гей! — докатился звериный рев со стороны заминированного Злягина.

Мы юркнули в бетонную “избушку” и прислушались. Через некоторое время рев повторился. Паша скомандовал, и Серега подчинился. Он выскочил на дорогу, упал животом на асфальт и довольно ловко пополз попластунски в сторону нашего товарища. Тем временем “э-ге-гей” прилетело в третий раз. Через сотню метров дорога делала легкий изгиб, и росшая на обочине бузина закрывала перспективу. Серега скрылся за бузиной и отсутствовал довольно долго. Мы нервничали. Ждать всегда тяжело. Но рев не повторялся. Наконец Серега появился на шоссе. Он ловко перебирал руками-ногами и скоро дополз обратно. Сел, привалился спиной к укрытию. Вспотел, запыхался, дышал.

— Ну? — Паше не терпелось узнать.

Серега сглотнул слюну и, по-детски улыбнувшись, сказал:

— Женя водки просит.

— Логично, — согласился я.

— Абсолютно, — подтвердил Сека.

— Значит, будет ему водка, — успокоился Паша.

Стрельбы продолжались до вечера. Мы пристреливали шоссе. Пьяный Злягин поднимал из воронки палку с прибитой к ней дощечкой, а мы старались попасть. Но попадали не очень, мазали, а заминированный Женя, человек хотя и пьяного, но неробкого десятка, высовывал голову и торжествующе орал:

— Ну что, суки, убили, гады?!

К началу учений мы с Серегой уже срубили бузину и устроили махонький бруствер у шоссе, используя придорожную канаву как окоп. В ящиках, кроме патронов, обнаружили шанцевый инструмент, аптечка, включавшая в себя и литр спирта. Днем откуда ни возьмись к блокпосту прикатила полевая кухня, точнее сказать, телега, запряженная унылой

клячей. Веснушчатый курносый дедок в выцветшей гимнастерке навалил из огромного чана в миски пшенной каши, которая вкусно залоснилась золотом масла. Еще возникший передал командиру Паше рюкзак.

— Гуманитарное вспоможество, — объяснил, развернул клячу и укатил.

Паша и Сека честно предъявили содержимое рюкзака. В нем обнаружили пара блоков сигарет “Мальборо”, зеленый ментоловый и обычный красный. К сигаретам прилагались большая бутылка шотландского виски и большущая плитка шоколада. Я снова решил не пить, но повеселел вместе со всеми. Еще мы обнаружили погреб неподалеку от дороги, полный всякого военного и мирного имущества. А на соседнем поле репетировали конную атаку. Было видно, как по зеленому холму конная лава, разворачиваясь в линию...

А после мы снова стреляли по Зягину и опять мазали.

— Что же вы, бойцы, — сумрачно укорял Паша.

Тем временем Сека сидел на придорожном пенке и чиркал в блокноте.

— Вот! — Сека поднялся и, подойдя к Паше, протянул блокнот. — Думаю, это поднимет боеспособность. Чтобы стать воинами Блеска, как вермахт, им сперва следует стать воинами Пота, как советская армия, а затем воинами Ярости, как берсерки.

Паша— Есаул наш, можно сказать, с Серегой друг, единомышленник, коллега; он стал изучать предложение комиссара, читал без единой редакторской эмоции, только шевелил губами. Тем временем из воронки донесся хриплый вопль Зягина:

— Водки дайте, уроды!

— Дайте ему виски... Нет, лучше разведенного спирта. — Паша приказывал, не поднимая головы, продолжая изучать текст философа-комиссара. — Виски — это командирский напиток. И для представительства. Вдруг со стороны врага появятся парламентареры.

Мы с Серегой переглянулись.

— Вы чего-то раскомандовались, — буркнул я, а Серега поднялся, ухмыльнулся в бородку и понес спирт...

Перестройка карабкалась к зениту. Разложение еще не просматривалось, трупный запах отсутствовал, ветер перемен походил на сквозняк в проходном дворе доходного дома. Народ с простодушным энтузиазмом пилил сук, на котором висел. Это теперь хорошо быть умным, а тогда перло и несло. Хотелось сюжетов. Сталин — гад? Ой, какой гад! Да и Ленин — гад, и даже Хрущев. А Боннэр не гада, и тем более ее муж! Мы

радостно меняли Империю на журнал “Огонек”. Что сделано, то сделано. За это и надо идти на фронт — мы во всем виноваты, а наши дети — ангелы. Они и пиво херачат из горла, потому что телевизор их так научил, за который нам тоже отвечать... А тогда казалось весело... Тогда из Москвы заказали молодых писателей. По советским меркам молодые — это когда совсем за тридцать. Тогда мы с Серегой и попали в бригаду, ехали в купейном вагоне с десятком поэтов-поэтесс, Серега сам тогда сочинял стихи, читал их, вычурно прохаживаясь по сцене и потирая руки... Нас привезли в московский Дом писателей и проводили в комнату. У стены за столом сидел мрачный Иван Стаднюк. А нам казалось весело. Иван написал популярный роман “Война”, но время его героики накрывалось известным местом. От Стаднюка нас повели коридорами. Скоро мы неожиданно для себя оказались в небольшом зале, набитом возбужденной публикой и телекамерами, освещенном горячими телевизионными лампами. Меня в силу роста и командного голоса приняли за руководителя делегации прогрессивных питерцев, и низенький человек с огромной головой пригласил сесть рядом. Человека звали Олег Попцов, он возглавлял журнал “Сельская молодежь”, но занимался вовсе не сельскими проблемами, но выдвигался вперед, как Линь Бяо, опираясь на молодежных бесят, подготавливая отечественных интеллектуальных хунвейбинов... Оказавшись во главе стола, покрытого правительственным кумачом, я не стушевался, но постарался понять, куда занесло. Полным ходом шла дискуссия под названием “Писатель и общество”... Чтобы не скучать в поезде, я взял с собой тонюсенький сборник афоризмов и успел долистать до буквы “К”. Когда в свете юпитеров башковито-башковатый Попцов обратился с вопросом:

— А что по этому поводу скажут ленинградцы? — я уверенно и громко ответил:

— Как сказал английский мыслитель Карлейль: “Состояние общества можно оценить по тому, как в нем относятся к писателям!”

Попцов— Линь Бяо радостно подхватил цитату и договорил ее до конца. Выходило, что мы читаем одни и те же книжки. Тут бы и начать делать столичную карьеру (ого-го, куда бы я залетел!), но поэт Серега вполне застенчиво увлек в писательский бар-ресторан, где в силу горбачевского указа сухое вино продавали не бутылками, а стаканами. Пришлось нам сразу купить пятьдесят граненых. В буфете больше не оказалось, и возле нашего столика выстроилась очередь за освободившимися емкостями. Из наших рук получили Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина... Кстати, в книжечке афоризмов отсутствовал

раздел “Вино”, но имелся “Вина и кара”. Начинал ее Лев Толстой: “Нет в мире виноватых”. Только фраза -вранье. Виноватые есть. Разнится степень вины. Если б пошел за Линь Бяо, то не было б мне прощения, а так — просто пропьянствовал всю перестройку без зазрения совести, а когда осознал — поезд, теплоход, самолет ушел, уплыл, улетел. Серега вообще получается ни при чем... Но коли соврал Лев, то можно переписать афоризм так: “Виноваты все”.

День все продолжается, и учениям не видно края. Паша по плану Секи воспитывал в нас сперва воинов Пота. Уж потели мы, как новобрачные. Сперва Серега тащил меня на закорках, изображая бег, похожий скорее на прогулку пьяного инвалида по паперти Владимирского собора. Когда бывший поэт рухнул на свежую травку, настала моя очередь. Хотя и нетолстое, однако взрослое человеческое тело. Екала селезенка, и невропатические боли дергались в стопах. Паша, гад, орал командным голосом:

— Быстрее, быстрее! Представь, ты выносишь раненого.

— Так, так, — почти каркал актуальный философ, а Женя орал из воронки:

— Хватит меня травить водкой! Виски давайте! Мать, мать!

И я упал. Положил лицо в траву. Такой свежий молодой запах. Вспомнились коровы, которые станут жевать ее, вырабатывать молоко, белую добрую жидкость, вспомнилась жена с молочными сиськами и чмокающий сиську сын; вспомнилось дурацкое время перед оплодотворением — тогда я носил куртку американского пехотинца и высокие ботинки на шнурках; вспомнилось, как прочитал, будто влечение к военизированной одежде означает сублимацию латентного гомосексуализма; вспомнил с облегчением, что недолго носил, да и не очень рвался — просто случайно купил по дешевке; что-то еще вспомнилось, а что-то забылось, так бы и лежать в траве, обнимая землю, но от Пота пришло время переходить к Ярости...

Джинсы на коленях изгваздались. Куртку “Schott” я жалел, надевал ватник. Только он от усердий треснул на локте. Серега не отличался от меня в лучшую сторону. Жена, собирая его на войну, отыскала такие же ватничек и джинсы, вышила разноцветными нитками имя, фамилию, номер воинской части и домашний телефон. Кроме как на воинов Пота мы не вытягивали. Зато Паша и Сека явились на сборный пункт во френчах, а теперь откуда-то подоставали и понавешали аксельбанты, должностные означать их начальственное положение. А Зягин пошел на фронт во всем черном и теперь оказался смертником на переднем крае. Хочешь или нет,

но форма всегда диктует содержание...

— Переходим к Ярости, — говорит Есаул.

Ему идет быть командиром, как и Секе к лицу оказаться комиссаром. Безумное лицо философа содержит в корявых линиях грома и молнии непредсказуемых положений, и я его боюсь со страшной силой. А Паша только на вид строгий командир — его легко сможет победить водка. Впрочем, и Секу может. Несколько раз на моих глазах побеждала с блеском...

Комиссар и командир устанавливают нас с Серегой напротив друг друга, и Сека объясняет задание:

— Встаньте поудобнее, чуток согните ноги. Будто в каратэ стойка. Глядите в глаза и орите благим матом. Лучше матерную брань орать. Или просто ругайтесь. Ярость, короче.

Мы становимся. Серега смешон в своем изображении каратэ, а я нет. Я давным-давно тренировался в нелегальной секции. Года два или три. Когда был настоящим профессионалом, когда надоело одно и то же, когда ходил на каратэ из-за понтов, но и для того, чтобы заменить тренировки по общефизической подготовке. Руками, ногами. Интересно. Разные хитрые штучки, отжимался от пола на кулаках. Купил черное кимоно, изображал японца, изображал хладнокровие, чему-то научился, проникся духом. Мог подпрыгнуть и попасть ногой в глаз. Бились, как черти, но бесконтактно. Однажды шел с младшим братом по улице Замшина, и на автобусной остановке увидели жанровую сценку. Трое молодых и датых “бакланов” собираются урыть поддатого мужичка. И народа вполне на остановке, только все отвернулись. В молодости легче. Адреналин в глаза. А в руках портфель. Брат и сообразить не успел. Я и сам не сообразил. Оказываюсь возле уродов и говорю: “Считаю до двух! Раз, два...” Не выпуская портфеля, провожу удары ногами. Одному в голову, другому по яйцам. Третий от страха взвыл и убежал. Только никто не пострадал. Я целый год тренировал, останавливая руки и ноги возле тела спарринг-партнера. Вот и в реальном бою остановил натренированно — не бил, а пугал. Напугал классно. Да и сам напугался, думая, что натренировался с помощью японской науки не попадать в человека...

Мы стоим и молчим.

— Начинайте, — в пятый раз приказывает командир.

— Сука, — наконец выдавливают друг Серега.

— Какая я тебе сука, говнюк, — реагирую я и чувствую, как начинаю заводиться.

Да и Серега начинает. Лицо у него заостряется, мягкие сатирические

линии ломаются, улыбочка и даже намеки на нее стерты, словно ошибочное уравнение со школьной доски.

— Сдохнешь здесь, и никто о тебе не вспомнит!

Меня задевает. Как это не вспомнит никто? Может, и так, только зачем такую правду говорить?

— И ты сдохнешь позорно! Это вы, блядь, дофилософствовались, вас бы самих в первую очередь! Народ ни при чем!

— А тебя во вторую! И зарыть, мудака, неподалеку от нашей братской могилы. Но одного! Ты и не с нами, и не с ними. Один, как собака!

— Какая братская могила! Какие такие братья! Зависть и злоба всегда! Выискиваете про себя замечочки, после показываете друг другу! Смешно до хохота!

— А зачем же смотришь, козел! Завидно? Завидно! Твое время, старый мудака, прокатило. Не пьешь с нами, а сидишь. Чего сидишь-то?...

— А за козла ответишь. И за мудака! Я, может, и старше всех, только всех вас...

— Хорошо пошло! — одобрительно вскрикивает Паша, а Сека довольно кивает.

— Да и вы, сволочи, — обращаюсь я к ним, чувствуя, как переполняет жилы Ярость, как похожа она на горячий металл, льющийся из печи, на лаву, которая остывает и принимает причудливые формы, после Ярости остаются причудливые формы жизни, а также смерти...

Мы орем, закипаем, прокрикиваем разные справедливые и ложные обиды. Но скоро выдыхаемся, даже матюги, использованные по-дилетантски, не помогают.

— Все, — говорю я, — не хочу больше.

— И я не хочу, — соглашается Серега.

Его лицо принимает привычные формы и становится дружелюбным. Бородка, вставшая было дыбом, ложится обратно.

Командир и комиссар переглядываются, шепчутся о своем, затем Паша оглашает резюме:

— Вы остаетесь на первом уровне, воинами Пота то есть. Воином Ярости окончательно утверждается Женя. А мы с Секой выполним роль воинов Блеска.

— Только не обосритесь, — вырывается у меня, а с шоссе доносится привычный вопль Злягина:

— Виски тащите, вашу-нашу мать!

Тем временем день сворачивается, а про психическую атаку не слышно. И конница более не носилась по холму. Да и наше безумие

завершилось — Злягин затих в воронке и ничего не просил, Паша и Сека раскатали плащ-палатку чуть в стороне от блокпоста и позвали нас с Серегой. Мы сели вокруг открытых консервных банок, нарезанного и раскрошившегося каравая. Тут и дольки чеснока, и порезанный лимон. И счастливые лица друзей. Солнце малиновым синяком приближалось к горизонту, который был чист и ровен, не загорожен лесом. В нем не таилось лажи, могущей обернуться преждевременной смертью. Густое солнце рисовало свои оттенки, делая мир мультфильмом из детской передачи. Вылилось в спокойную ночь, в чистый сон. Забытое чувство счастья охватывало, словно женщина ногами. Друзья не прикидывались никем. Молчали про свое. Война покуда походила на туризм. Оставалось поставить палатку и зарыть томагавки в землю...

Под солнцем на поле возникли точки. Два черных пятнышка. Две крошки. Их хотелось смахнуть, но они не смахивались, становились больше, двигались от горизонта, портя малиновую красоту синяка.

— Что-то идет. — И Серега заметил помеху.

Паша и Сека приподнялись и стали вглядываться, как новгородские ополченцы из фильма “Александр Невский”, — беспокойно вертели головами в ожидании немецких рыцарей, скачущих с копьями наперевес.

— К оружию! — воззвал Паша.

Мы побежали к блокпосту и вернулись с винтовками, прихватили гранаты и зачем-то противогазы. Упали за бруствер и стали целиться загодя. У крошек, пятнышек появились ноги и руки. Страх обуял быстро, и пот покатился по спине. Страшно то, что не понятно. Со стороны врага шло непонятное.

— П...ец подкрался незаметно, — проговорил философ.

Серега хохотнул и закрыл рот ладошкой.

Паша буркнул коротко, но воинственно.

Я же хотел и того, и другого, и третьего.

Глава девятая

Обидно излагать схему бытия в двух абзацах. Чертеж вдоха-выдоха оказался слишком прост. Так и Ньютон, так и Эйнштейн, так и я. А поговорить? Посудачить? Надо, но не хочется. Какая может быть болтовня, когда разглядываешь переливающийся гранями кристалл ужаса! Но чувство ужаса еще предстояло заработать. Пока же по спине едким потом катился обычный страх. За что страх? За жизнь. Как представишь, что ужокошат, так и дрожь в коленках. То есть инстинкт, подлец, не дремлет. Но уже меньше инстинкта. Скоро стану, как дитя, которое ничего не боится. Однако страшно. Так страшно, что хочется закрыть глаза и не видеть приближающегося. А оно приближается, и пока непонятно. И связи у нас нет, чтобы вызвать на подмогу конницу генерала Уродова. А заминированный Женя лежит в хорошем месте, но в стороне от гипотенузы, которой неизвестное рассекает поле. А какое красивое солнце! Какая ягода! Как легко страх-подлец вытеснил холод ужаса и бросил в жар. Слишком молод я еще все-таки для войны. Еще ничего не произошло, а голова набекрень. Лучше всего воевать восьмидесятилетним, когда жизнь еле дремлет и ничто не мешает понимать...

Точки— крошки превратились в кляксы с нитками ног. Позднее солнце слепило, а они надвигались от горизонта. Теперь уже абсолютно, совершенно, идеально ясно: идут человекообразные. Непонятно только -до какой степени. Мы залегли в канаве придорожного бруствера в десятке шагов от закуски — падающее светило сделало коньяком недопитую водку. За такую конкретную красоту можно и сразиться. Всегда легче подраться за материальную девку-водку, чем за общечеловеческие ценности.

— Без моего приказа не стрелять, — шепчет Паша, упавший справа.

Сека молчит рядом с ним, а Серега слева таким же шепотом спрашивает сам себя:

— В “яблочко” или под “яблочко” целиться?

— Ты — под, я — в, — шепчу, и Серега радуется, кивает:

— Под, под, замечательно!

Алое артериальное поле перед нами, и по нему идут со стороны врага вполне отчетливые существа. От любопытства страх укатился со спины в пятки и там заткнулся. Смотрим, смотрим. Идут, идут.

— Может, встать наперевес... наперерез, — думает вслух Сека, а Паша:

— Рано наперерез. Примкнуть штыки, — командует.

И мы с Серегой примыкаем, возимся с непривычки.

— Пуля — дура, штык — молодец, — шепчет Серега.

Смотрим, смотрим. Идут, идут.

— Это Суворов, — вырывается машинально.

— Это люди, — фраза справа.

— Люди людям бывают волки, — еще фраза справа.

— Эти какие-то двуногие волки, — фраза справа.

— Так я стреляю под “яблочко”? — фраза слева.

— В штыковую без приказа ни-ни, — фраза справа.

Смотрим, смотрим. Идут, идут. Какая революция заката!

Прямо на нас шли, превращаясь из крошек в кляксы, в существа. Прямо к закуске, словно знали про нее и водку. Но вдруг стали поворачивать влево. Черные теперь силуэты стали отчетливей, человекообразней, человечней, но чем-то не такие, как мы. Вышедшие со стороны врага скоро должны оказаться на шоссе, неподалеку от того места, где в воронке что-то уж совсем затих заминированный Женя.

— Отбой штыковой атаки. Отомкнуть штыки. Возвращаемся к блокпосту.

— А еда? — интересуется Серега.

— Еда... — Паша думает.

Ждем. Сека перебирает ногами, будто застоявшийся коняка.

— Нельзя отдавать врагу, — говорит он.

— Комиссар прав, — принимает решение Паша. — Ты, Владимир, и не отдашь, и посидишь тут в дозоре, пока мы с блокпоста за дорогой проследим.

Поднимаюсь, растираю ладонями затекшие бедра и, стараясь принять молодцеватый вид, говорю:

— Да, мой командир!

Они уходят, а я остаюсь. Откладываю винтовку Мосина в сторону, как неродную. Я стрелял днем, и она была отдачей в плечо запанибрата. Не люблю фамильярностей. Смысл слова спорен — “фамилией” сперва называли не семью, как мы ее понимаем, а рабов хозяина. Так обстояло дело в языческом Риме, если верить Энгельсу, который не сам это придумал. Я не люблю фамильярность, поскольку не хочу становиться ни рабом, ни хозяином...

Лежу за бруствером на животе и жую молодую травинку. Поле передо мной из артериального превращается в венозное, и в нем оживают тени. От редких кустов вытягиваются в мою сторону черные змеи... Чтобы

получился роман, все-таки следует сложить много слов. Понятная формула вдоха-выдоха настолько проста, что скучна. Можно развлекаясь дробить. Сперва пополам. И постараться понять “выдох”. Мы и живем в “выдохе”, и умрем в нем. А как происходит бытие во “вдохе”? Как оно течет задом наперед? И как мы задом наперед воскреснем? Да и бытие не одноразовый шприц для всех — вполне могут существовать противоположные потоки. Кто-то вперед, а кто-то назад. Так думать уже занятней, забавней, абсурдней и хохмачней. Чесотка двадцатого века — все раскручивать и развинчивать на составляющие смыслы. А разобрав, уже не собрать снова. Энтропия в избыточном уме как уродство в перекаченной мышце. Но теперь уже двадцать первый и последний век. Если просто, то пусть останется простым. Если в двух абзацах, то не стоит сочинять тома комментариев. А вот Серега любит комментарии. Они у Сереги отлично получаются. Да и у богословов. Тысячи томов комментариев. Из Сереги б вышел хороший богослов или даже отец церкви. А возможно, и святой. А из Паши — Фридрих Барбаросса или Тамерлан. Если не прикидывается. А из Секи — Макиавелли. Он-то точно не прикидывается. А из меня? Про себя надоело. Всю жизнь только и думаю про себя и сопоставляю с другими. Но если мера мира уместается в пару абзацев и обсуждения отменяются, то выходит, что мысль тоже отменяется. Ведь в каждом воспоминании все равно таится желание перемыслить да и переосмыслить. А новое знание? Куда его теперь? Знаю, что сын в Париже и жена в Париже. По благу парня устроили по утрам развозить пиццу, и ему покуда нравится. Но скоро малина кончится, а начнется французская школа с Капетингами и конжюгезоном. А жена жалеет. Она на расстоянии всегда жалеет, а теперь расстояние равно выдоху. НАТО вовремя успело уронить “железный занавес” и оградить себя от ужаса. Вот и выходит, что у кого-то может оказаться выдох в самом разгаре, а кто-то уже озабочен вдохом. Опять, блядь, энтропия рассуждений! И опять, блядь, про себя! Лучше о высоком, про ангелов, к примеру. Вон Паша. Он сочинил две книги про ангелов и наделал шуму, навел шороху. Стал известным, как слово на заборе. Или Серега! Он тоже стал известным, но не про ангелов писал, а сатирическую книгу про обезьян, а другую — про полиоргазмические способности русской женщины времен холодной войны. И тоже наделал, и навел, и даже чуть премию не отхватил “Национальное открытие года”, но не отхватил — основная схватка случилась между провинциальной милашкой, представившей книжечку про молодежные пиво и сперму, и пожилым патриотом Прохановым в галстуке. Банкир Коган отдал решающий голос патриоту, а тот публично отдал доллары на защиту

писателя Лимонова. И зря отдал, поскольку Лимонов в тюрьму не случайно попал, а попал из садо-мазохистских намерений. И из гордыни. Хотел, как Че Гевара в Боливии, завести партизан в Казахстане, и чтоб мучили после, и убили. Но славы и кайфа одновременно получить практически невозможно. Вот и сидит теперь Лимонов в тюрьме позорно, пока мы за него помираем тут. А после вручения премии неврученный Серега с Пашей, написавшим про ангелов, недопившие отправились на дом к одному артистическому дедушке. И там ели рыбу и глотали водку. Серега помалкивал и щипал бородку, но дедушка и Паша проклинали Когана за антисемитизм. Затем Серега не помнит. Помнит, что помнил про жену, которая в Эрмитажном театре. И помнит Дворцовую площадь с Александрийским столпом, закованным на ремонт посреди Дворцовой площади. И совсем явственно помнит свой грозный вид, с которым наступал на сторожа столпа, говоря про свободу прессы и совести. И, кажется, сто рублей дал для вескости аргументов. Затем память скукоживается до размеров искрошенной штопором винной пробки. Но — ангел! Ангел был рядом! Золотой большой ангел, которого Серега целовал и даже постарался укунить на зло Паше-Есаулу. Он поднялся по лесам на самый верх и на вершине Александрийского столпа, воспетого светочем Пушкиным, эксклюзивно отрубился на два часа, а когда открыл очи, то стояла пестрая городская ночь и сторож попискивал и плакал снизу, прося вернуться... Ангел, одним словом. Обуреваемые ангелом. И я бы про ангелов, только не знаю толком, кто они. А падший ангел? Падшие ангелы — это люди. А падшие девки упали, получается, вдвойне...

Так быстро темнело в кинотеатрах, когда ходил туда при советской власти, покидая окружающий мир. Среди бела дня на Невском вместо Публичной библиотеки вдруг сворачивал в кинотеатр за тридцать или сорок копеек все равно что смотреть...

Теперь только лучи. Кровавое брюхо утонуло где-то далеко в Финском заливе. Забыл дословное содержание приказа. Я в дозоре или в засаде? На боевом посту, одним словом. А за спиной полный мрак и кладбищенская тишина в районе блокпоста. Что на шоссе происходит, тоже не видно: придорожный холмик как раз загораживает место заминированного товарища. Паша не сказал, сколько сидеть тут. Надо б добежать-доползти-доковылять до бетонного укрытия и узнать. Но ведь тогда покину позицию и нарушу приказ. Тем временем коварный враг воспользуется оплошностью и нападет с тыла... Но ведь нет никого. И хочется есть. Проклятые инстинкты! Всегда хочется трахаться и есть! Не так сильно, как в двадцать, тридцать или даже в сорок лет, но постоянно. Передо мной за

бруствером на скатерти-самобранке полно вкусной закуски: хлеб и консервы, банка огурчиков. Я сделаю вылазку. Разведку если не боем, то горлом...

Что— то мне винтовка знакомое напоминает -перегнувшись через бруствер, я лег на живот и попытался ползти, держа винтовку в левой руке за ремень и волоча ее по молодой земле — именно ремень! — у винтовки Мосина ремень похож на гитарный. Почти такой был у меня бесконечное количество выдыхов назад, когда мама купила чехословацкую электрогитару за то, что закончил первый курс исторического, и я искал себе, и мне нашли приятели, именно ремень от винтовки Мосина, только не знал про винтовку, я приспособил к миролюбивой и хипповой гитаре “Иолане” — вот Серега ползает так ползает, извивается, будто змий, и быстро преодолевает пространство — мне еще учиться и учиться, — возможно, и не освою, не успею перед тем, как мой выдох выдохнется, — много чего уже не успеть выучить и узнать — уже французского языка не выучить, хотя пытался как-то с наскака и даже насобачился читать вывески в Париже, даже мемуары де Голля стал читать, мало что понимая, и понравилось мало что понимать, ведь о чем речь, идет ясно, что-то можно допридумать или поискать в словаре, только автору не удастся достать тебя своей сверхзадачей или занудством. И новых аккордов не выучить, поскольку незачем и некому показать, а спрашивать неловко, ведь родоначальнику и живому классику неприлично; и сто сорок восьмую позицию из “Камасутры” никогда не освоить, смешно как-то приставать к жене — да и где жена, и где я? — а к посторонним девицам-женщинам с подобным как-то и неприлично. Да и заявленные предыдущие сто сорок семь, если честно признаться и не врать, как все, выучил не до конца...

Вот и скатерть нашего пикника, а врага не видно и не слышно. Вокруг ни шороха, ни огонька. За спиной на холме спит конница генерала Уродова, и ничего покуда не слышно про психическую атаку. И от блокпоста ничего. И от Злягина. Но ведь шли крошки-кляксы и свернули. Я жую бутерброд и тыкаюсь вилкой, ища открытые консервы. Затем прихватываю недопитую бутылку, долго шарю в темноте и нахожу. Навинчиваю пробку и ползу обратно, стараясь не расплескать. Переваливаюсь через бруствер и затихаю, прислушиваюсь. В созревшей темноте даже птицы не поют, только двухбалльный ветер летит с юго-запада, от врага.

Жизнь на речке могла продолжаться вечно, но, во-первых, стал заканчиваться день, а во-вторых, захотелось есть. Счастье оказалось прерванным вращением Земли и инстинктом самосохранения. Поэтому пришлось затихариться в кустах, долопать кулек конфет, запить водой из

копытца, обсудить будущее и решиться — прошмыгнуть от куста к кусту, приближаясь к брошенной церкви. Как тогда в семьдесят первом году было, так и было. Я же, возвращаясь туда, не могу не врать. Но не нарочно, а так, как выуживаются события из извилин, нейронов, серого вещества, из кладбища памяти прошлого, в котором всяко уж недостает красок и целых фрагментов. Но клетки-реставраторы сами подыскивают и цвета, и слова, и даже запахи. Я в принципе не хочу врать, а на детали — положить с прибором. Тогда же и приблизительно не возникали в уме такие грубости. В юности любишь людей, развиваешься романтически. Это после копейка за копейкой копятся занудство и мизантропия...

— А церквушка-то ничья! — говорит Мишка, и я соглашаюсь.

— Ничья, — говорю. — Хотя что значит — ничья? Государственная, наверное.

— У нас церковь отделена от государства, — говорит Девушка, и я смотрю на нее.

Мне хотелось спросить еще на вокзале, но показалось неудобным. После забыл вопрос, а теперь вспомнил снова. “Исходя из каких соображений, Мишка, друг, коллега, в одной группе играем, планов на будущее громадье, а сперва меня не пригласил в деревню, хотя ради общего дела, ради гитар хотели, усилителей и микрофонов. Девушка тут сторона, да и девушка ласково так гладила меня по плечу, а с Мишкой собралась в одну минуту, и я случайно узнал и навязался, Мишка лицом скис, но согласился, теперь снова худой и веселый, потому его и прозвали Летающим Суставом...”

— Законно или противозаконно, хотелось бы знать, — говорю, а Мишка:

— Все по закону, — смеется, а Девушка:

— А это что в углу? — спрашивает.

Мы заходим в выломанные двери. За ними прах запустения — мусор, палки, народное говно с бумажками, а в углу возле вторых, но заколоченных дверей мы обнаруживаем два искомых объекта. Девушка достает носовой платок, и Мишка, плюнув, начинает оттирать грязь с одной из досок. Тут же возникают погасшее золото и кудрявая башка.

— Это святой, — говорит Девушка.

— Или ангел, — предполагает Мишка.

— Староват что-то для ангела, — качает головой Девушка.

— Так икона старая! Вот он и состарился.

— Да ну тебя! Я серьезно.

Рот у нее небольшой, а большого и не надо. И нос у нее небольшой, а

большого и не надо. У меня будь здоров! Роста она не такого, чтобы очень большого, а большого и не надо. Я сам каланча. А вот хипповости на пол-университета хватит, и Моррисона знает, и, может быть, любит. Кого любит? Не говорит, да и не спрашивали. И так хорошо. Сейчас хорошо, а завтра покажет...

— Вовка, ведь ты историк! — говорит Мишка. — Как святого зовут? Должен знать!

— Святого или ангела?

— Нас не учили, — отвечаю им.

— А почему, парни, православные иконы стоят фактически на улице?

— Станем ответы искать после. Хватай, Вовка, одну, а я другую. Валим куда-нибудь поближе к речке.

— Михаил, ты же говорил, нет проблем. И, вообще, я не Вовка.

— Ладно тебе, Невовка!... Проблем не появится, если мы свинтим сейчас по-быстрому.

Мы подхватываем доски и выходим. На улице начало красного вечера. Видок у нас тоже по-ленинградски-питерски красивый. На Девушке черная футболка с картинкой лютого мотоциклиста и английской надписью, застиранные, почти белые, почти как тундра, джинсы, настоящий “Ранглер”, хотя в те годы мы неправильно называли их “Врангелем”. На мне совсем экзотика — вельветовые и протертые до толщины марли штатовские портки. Они лопнули на коленях, когда прошлой ночью мы попали в грозу. Прилипли, мокрые, к ногам и лопнули, когда поскользнулся и рухнул в лужу. Да и Мишка от нас не далеко ушел. Куда ему уйти! Мы же самые прогрессивные, передовые, самые знаменитые и хипповые, звезды намба уан. Нам ли унывать и жить в печали! Нам бы только микрофонов (два!) и усилителей (два!)... Вокруг церквушки брошенные могилки уже без крестов и несколько пятнистых берез ростом с Казанский собор. Волосы у нас с Мишкой по плечи, а на подбородках выются первые бородки. Мы стоим со святыми в руках, держим их, как грудных малюток. И тут картина, достойная кисти Льва Толстого: со стороны поля по тропинке идут. Идут со стороны заката аборигены с косами. Мужики и бабы. Как из кино, идут по тропинке, которая мимо церкви, на которой мы со святыми в руках, сами, как святые, — ободранные и волосатые. По крайней мере, тут таких не видывали. И тогда ничем не мотивированный страх — захотелось зарыться головами, словно страусы. Только нет пустыни вокруг. Не сговариваясь, садимся под березой в кучку и закрываем глаза. А мужики и бабы проходят, вертят головами. Им тоже страшно. Это чувствуется даже сквозь наш страх. Страх всегда суетный. Если отмыть

его, то всяко увидишь простое желание — хочу! Того и сего, и того, что у тебя, и того, что за морем, и того, что не сожрать и не оттрахать... Все равно — хочу! Потому и страшно, что не получить. И еще страшно, когда непонятно. Непонятное может приблизиться и отнять...

Тогда ничего подобного в голове возникнуть не могло. Просто испугались, сели под березу и переждали время, пока испуганные крестьяне, отученные богоборцами креститься, не ушли...

Мы откатываемся в сторону от села и церкви, и до темноты прячемся в брошенном срубе.

— Ночью пойдем и пролезем сквозь крышу. Она в нескольких местах проломлена, — предлагает Летающий Сустав, а я боязливо:

— А что там? — спрашиваю, а Девушка подхватывает вопрос, словно мячик, и отбивает:

— Там ваше счастье! — говорит. — А поскольку ваше, то я не пойду. Подожду здесь. Я все-таки девушка. Чтоб по крышам лазать!

— Жди! А ты, Владимир, не бойся. Делай, как я! Мы туда как-нибудь заберемся, что-нибудь найдем, где-то продадим и чего-то такого добьемся офигенного!

— Я не трус. Я просто честный и дисциплинированный прибалт! Наполовину прибалт, а наполовину — нет. Хотя иногда и страшно непонятно чего. Ведь церковь отделена от государства! Так сказали! Неясно — почему мы от страха под березу рухнули.

— Не от страха. Так просто.

— Кончай, Мишка, врать! Я лично испугалась. Действительно — чего?

Вот и ночь вокруг. Где мы и кто мы? Тогда не думалось такими словами, а какими — не помню. Просто восторг от всего. От того, что недавно избавились от детства и даже юности, что здоровы и вечны, что скоро она с кем-то из нас, и кто-то из нас с ней. Обо всем еще можно говорить в будущем времени...

Мы подползаем к церкви, которая в темноте смотрится совсем по-другому. Если отбросить беспричинный страх, то, когда горело солнце и шли крестьяне с покоса, происходящее цветом и содержанием походило на палехскую шкатулку, но в ночи проявились иные смыслы: углы заострились, пространство ошетинилось, и возникла угроза. Почему ночью всегда говорят шепотом? Вот и тогда Мишка шепотом:

— Не видно ни фига, — говорит, а я ему:

— Где твой хваленый пролом? — шепчу в ответ.

— Тихо ты!

— А чего боишься? Никого нет.

— Ничего не боюсь. Думаю. Мы с какой стороны тогда подходили? Не помнишь? Вот и я. Выбитая дверь находилась слева. Понятно. Чуть не доходя. Мы, получается, стоим там, где надо.

— Мы не стоим, а лежим.

Действительно, мы лежим впритирку к земле, траве, в чем-то типа нерукотворная яма. И шепчемся так тихо, что еле слышно друг друга. Как-то и звезд не видно, но на звезды еще надо посмотреть. А головы не поднять — боязно, страшно, страшно даже непонятно почему, уже не так, как перед косцами. Так перед первой женщиной возникал притягательный ужас. Да-да, это был не страх, а ужас, его первый прилив. После Мишка поднялся, и я поднялся за ним. Мы встали у стены, и я сцепил пальцы на ладонях в замок и согнул колени. Летающий Сустав оперся, оттолкнулся, зацепился за решетку окна. На белой стене еле виднелась Мишкина тень. И я уцепился, пытаюсь подтянуться и доказать свою смелость...

И тогда. Не подобрать правильных слов. Мозг почти стер чувства. Только помню, как накрыла волна. Горячий лед, горячий снег упал, и мы упали вместе с ним. На почти бесконечное мгновение после достал звук. Таких звуков не бывает. Его и сравнить не с чем. Все равно что кто-то переворачивает книжную страницу. Только страница эта величиной с пространство. Звук же равен запуску ракеты с Байконура. Эпицентр находился в черном проломе крыши. Черным на черном сложилась черная гримаса. Какие-то массы разорвали черное и черными же обрывками схлынули поверх нас. Потому что мы покатались прочь. Что-то черное в черном пространстве менялось. Только не понять. Только бежали и падали. Вскакивали, как молодые члены. Только ужас — теперь нашлось правильное слово, а тогда было не до слов, но все равно было хорошо, как обожравшейся на чужой свадьбе тетушке после утренней клизмы. Только чистый кристалл ужаса, состарившийся ангел, явил свои прекрасные грани первый раз в жизни. Но не последний. С чего-то ведь следовало начинать...

Объяснилось все просто, словно apple Ньютона: на ночь в церковь слетали птицы с окрестных полей, сотни птиц. Мы их потревожили, и они полетели в разные стороны. Может, и птицы. Таково было последующее самообъяснение события. Только теперь я думаю: вдруг и не птицы? вдруг это неприкаянные души населяли униженную церковь? или прикаянные? или не души вовсе, а что-то другое? что? что? что? что? Плевать теперь. Что бы то ни было — это случился ослепительный ужас, и точка. Не ужас, и точка. А точка после ужаса. Все...

...В созревшей темноте даже птицы не поют, только двухбалльный ветер летит с юго-запада, от врага. Я сижу в окопе и решаюсь ретироваться. Пустая тишина со стороны поля несет долгий, уже почти хронический страх, а безголосая чернота за спиной вместо боевых товарищей вот-вот превратится в зубной ужас. Тогда от меня точно проку никакого не останется.

На четвереньках, как первобытная обезьяна, упавшая с дерева и шагнувшая к человеку. С бутылкой за пазухой ватника и волоча трехлинейку по земле за рок-н-рольный ремень. Совсем ведь недалеко, но в черноте кажется, как до Луны. А ее нет на небе. Или рано? Пару звездочек чиркнуло, светят. Светят, но не греют. Страх есть всегда, а дурной ужас возможен часто. Только пространство вокруг чувствуется своим. Через него можно протолкнуться. Это не стена, которая утюжит. Которая отутюжила крепость с Адмиралтейским полком.

Возле блокпоста чисто и пусто. Чистоту мы с Серегой наводили днем. Паша и Сека изучали карту-трехверстку и чертили красными карандашами стрелки будущих ударов, а мы с писателем выгребали экскременты, банки, пластиковые бутылки и гнилые сигаретные пачки. Даже посыпали внутренности песочком и украсили березовыми веточками для свежести. Теперь свежесть есть, а людей нет. Может, я проспал все на свете? Но я не спал. Но грезил. Может, прогрезил события, приведшие к пустоте. Кто-то ведь шел поперек поля. Вдруг я один теперь в черноте. Нет никого более. Нет света. Если нет Луны, то, возможно, и нет Солнца? Ужас легкой тошнотой обозначил себя в районе пищевода. Пошутил и успокоился. Думать! Думаю. А что тут думать-то! От судьбы не отсидишься за мертвым бетоном. А двигаться можно только вперед или назад. Назад идти неизвестно к кому, да и шли на войну погибать за сыновей, не для того, чтобы предавать их и их “Рамштайн”, их компьютерные игры и их мобильные телефоны. Придется идти вперед. Туда, где окопался заминированный Злягин. Что-то не слышно его криков про водку и виски. Можно сделать три вывода: брат по оружию заснул богатырским сном, его взяли как “языка” те, кто свернул на дорогу с поля, и, возможно, Сека, Паша и Серега присоединились к нему... В первом случае — ничего преступного. Кроме ручного взрывателя, на теле бойца установлено и дистанционное управление. Паша может разорвать пожилого героя на расстоянии, когда того окружит толпа врагов. Если Злягин стал “языком”, то я не завидую тем, кто его потащит. Мы их догоним через полторы минуты. Если компания воссоединилась... Что ж, значит, страхи наши излишни, ничего опасного, жизнь покуда продолжается, в любом случае

вставай и иди...

Встаю и иду с трехлинейкой наперевес. Снова штык примкнул, чтобы в темноте, если что, холодным оружием... Холмик мешает смотреть. Все равно не видно ночью. И тихо, черт, как во сне без сновидений. Холмик бы скрыть. Нам и придется с Серегой. Почему не слышно...

Вдруг. Сперва по нервным окончаниям. Сразу упал от страха, как последнее говно. Лежу и говорю себе: “Спокойно. Спокойно. Спокойно”. Тогда начинаю думать, и действительно — анализ и синтез. Упал от звука. Не реактивный двигатель. Не все ясно — тихо и стройно, даже музыкально, какие-то ноты в ля-миноре крутятся...

Сползаю с дороги на обочину и через канаву крадусь на холмик. Сперва высовываю дуло, затем продвигаю голову. Но не сразу — по десять сантиметров. А и не страшно совсем! Уши поэтому слышат. А слышат они — да-да, это гнусавое, но все-таки пение, пропетое в пионерском детстве:

— Там вдали-и за реко-ой зажигались огни,
В небе ясном заря-а догорала...

Так петь нельзя! Так и жить нельзя. Как поешь, так и живешь. А лажово спетая песня приводит к лажовой смерти. Исправления требовали и песня, и жизнь, и смерть. Я узнал товарищей и не стал думать: почему поют? почему так фальшиво? Слышался в песне и чужой тенорок. Не испытывая страха, я поднялся во весь рост, и глаза сразу же увидели красно-белое посреди черного. Крохотный костерок возле воронки и овальные тени ополченцев. Я пошел к ним, перекинув ружье за плечо, продлевая и улучшая песню, как это получается у меня, когда надо и есть дух; то есть редким по красоте баритоном запел дальше:

— ... Сотня юных бойцо-ов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала-а...

Они радостно выдохнули: “О!”, молча вдохнули. Песня прервалась, и я шагнул к огню.

— Старейший номад опять с нами, — сказал Сека.

У него имелись покуда два глаза, не поврежденных войной, и в их бешеной глубине полыхал, двоясь, костерок.

— А мы тут, а мы тут! — Это Серега нечленораздельно.

— Вот и спортсмен приковылял, — констатировал заминированный.
— Он нам не страшен, поскольку трезвенник.

— Все зависит от точки зрения. Множественность трактовки — причина кризиса мира, который, увы, необратим. — Когда я возник, Паша-Есаул находился ко мне спиной и теперь медленно поворачивался в монологе. — Последним словом кризиса окажется хаос. Господин хаоса уже здесь, но истинный свой лик он пока скрывает. И лишь воссоздание имперской адекватности действия слову и мысли! И, конечно же, беспрекословность...

На золотой нити эполета красиво метались отблески крохотного пламени. Еще двое сидели возле командира. Я достал засунутую в джинсы бутылку и протянул. Радостное возбуждение усилилось. Бутылка, ночь, песня, я...

И гости. Те, кто шли через поле и прибились к нам. Их пока не представляли, и мне не терпелось познакомиться. Я сел возле Паши и чуть наклонился, чтобы увидеть. Мы воткнулись глаза в глаза. Знакомый до осточертения народный лик.

— Ёкэлэмэнэ! Вовка! Живой, черт!

В пору было мне вскрикнуть. Но не вскрикнул. Потому что тип нордический. Но внутри... До фи́га внутри! Цунами эмоций. Все равно что Медный всадник увидеть с лицом японца! Приговоренный Колюня Морокканов сидел возле Паши и тянул руку.

— Привет, земля!

— Привет. Ротный сказал, что крепость накрыло и всех словно катком.

— Катком! Меня катком не укатаешь! Кой-кого, конечно, да. Всех то есть в мгновение ока.

Они сидели непьющие и счастливые возле закуски. Как раз в той фазе, когда приближается чувство красоты и гармонии. Возле Колюни находился еще один, скрытый со спины тенью ночи. Я машинально потянул руку знакомиться, и мне протянули в ответ. Наши руки остановились, не дотянувшись дециметра. Колюня, Паша, Серега, Сека и Женя смотрели лукаво, каждый со своим оттенком. Даже тихо стало, словно ни вдоха, ни выдоха. Затем ночь треснула от смеха, который можно, пусть и с натяжкой, назвать дебильным хохотом. Женя хрипел, отдуваясь. Сека красиво кривил рот и более обозначал. Серега хихикал, по обыкновению прикрывая рот ладошкой. Паша рта не загораживал и издавал звуки ритмично, по-генеральски. Колюня изображал искреннее счастье, приговаривая: “Ой, не могу!”

Скорее всего, повод для коллективного счастья имелся. Мы так и

держали руки вытянутыми. Моя — не шибко загорелая, ни ахти какая широкая, пальцы умеренной длины, подстриженные ногти. Удивить сложно, испугать нельзя. Не про нее речь. Та, что тянулась к дружескому рукопожатию, была пятипалой, но по-звериному густо поросшей рыжими волосами, без ногтей. Костерок издавал достаточный свет, и я не ошибался. Стало страшно коснуться и поднять глаза, чтобы увидеть...

— Ага, испугался! — радовался Колюня. — Твои дружки тоже так же! Это я, сосед, пленного привел! Первого, можно сказать, на нашем фронте. Не так страшен черт, как его, как говорится, малютка!

Я досчитал про себя до десяти, коснулся протянутой плоти и одновременно поднял голову.

Ужас!

Глава десятая

(рассказ Колюни)

Вот я и говорю, да. Теперь уже по-другому голова, поскольку. Поелику! Теперь уже другой я, да. То есть такой же долбоеб, как и был, но плюс другая величина. И как оно совмещается во мне, описать не могу, только это есть, да. А тех, кто говорит про крепость, тех не слушайте, их там не было. А было вот что...

Однако сижу я в подвале и думаю: амба мне, кердык, финита ля! Вот пройдет чуток, и поведут на свежий воздух не дышать. Убивать поведут по закону за сто граммов. Хорошо! Не за сто граммов. Может быть, и за сто килограммов! Только херовато так, да, не по-людски, не по-христиански даже, не по иисусо-христовски. Только бабушка моя была за эгалите и фрарните и в библейского бога ни-ни. Такой же и папа, а я папу уважал. Родом мы из деревни Морока, псковские скобари! Это бабушка, которая за фрарните и либерте, так в паспорт записалась. Дядю Петра за фамилию в тридцать каком-то, как шпиона, тью-тью...

Так я про подвал повествую. Сижу, ночь. Ночь перед казнью! Тут и Дрочило, мерзляк, плачет почти навзрыд. От его соплей к тому же на душе кошки. “За что? — ноет он. — За высокоразвитые природные качества! Сволочи! Убивать за половую потенцию в пятьдесят лет — нонсенс! Надо орден давать и майором назначать”. Заговорил, как профессор. Таких слов и не знал. А тут заговорил, да. И я кумекаю. Так и поперло тогда после “нонсенса”. Сперва стало плотно, как в бане, загудело в ушах. Словно на самолете “ТУ-114”, когда падаешь в яму, и стюардесса дает, давала, да, конфетку пососать. Дрочило плакать перестал и скрючился на полу, забыв про казнь. Нас охранял такой стремный Ванек с АКМом. Только, думаю, он и стрелять-то не умел, рыхлая рожа. Так и Ванек скрючился, заныл, схватившись за уши. Мне тоже поддает, только хоть бы хны, да. “Эй, хватит там!” — хотел кричать. Только не кричится, будто онемел. Да и кому кричать? Потом наверху ухнуло, потолок подземелья хрустнул, просел, да. Свет потух. Погас. То потухнет, то погаснет. “Конец дороги, — думаю, — “ариведерче, мама!” Вроде как помираю, но ничего — вынырнул. Темнота. “Тот, — думаю, — свет или этот?” Если тот, то уже не страшно. И на этом

не страшно, поскольку выходит, что не до казни им там. Пошарил по полу, нащупал Дрочилу, шею нашел, пощупал шею. Все, нет пульса у дядьки, спекся. Я кручу головой, и в ней такая ясность, такая новая ясность. Хотя и темным-темно, а словно вижу все. А вижу вот какую хренотень. Посреди черноты вдруг читаю красные буквы-цифры: $a = f * (k_2 k_1)$ с. Понять невозможно, и не надо. Только чувствую, как под черепашкой лопается, затем разливается и — тепло. Лопается, разливается, тепло. И вроде не долбоеб и пьянь-шоферюга я, а словно академический человек. И не читаю, и не думаю, а как-то так странно сам себе говорю: “В основе Космоса лежит принципиальное начало, определяющее существование и развитие Космоса как совокупности всего сущего. Оно образовано двумя взаимосвязанными неизменными принципами с неопределенной первичностью. Их взаимосвязанность обусловлена абсолютной необходимостью, неизменность детерминирована двоичностью элементарного принципиального начала, а неопределенность первичности вытекает из вышеназванных свойств...”

Лопнуло круто, разлилось и потеплело. Только перестает дышаться, и я, того, да, на карачках ползу. По тому ползу, что почти рухнуло все, промялось, провалилось. Ванек с АКМом под руку тоже попался — так и Ванек, словно соленый огурчик, не дышит дядька. Ползу, вспоминаю устройство подвала. Тыкаюсь туды-суды, понимаю, что еще так потыкаюсь с полчаса и сам стану огурчиком. А в голове тем временем само говорит, словно Никита Михалков по телевизору: “Одним из принципов является принцип существования (е-принцип), позволяющий существование чего-либо, в том числе и самого себя. Другим принципом, позволяющим любое развитие, является принцип развития (р-принцип). Таким образом, е-принцип позволяет существовать самому себе и р-принципу, а р-принцип позволяет свое собственное возникновение из е-принципа и само возникновение е-принципа. Самодостаточность системы этих двух принципов делает ее, по сути, энтелехией, то есть первичным творческим самодовлеющим началом, имеющим причины и цель в самом себе, и Космос невозможен при отсутствии любого из этих двух принципов, так же как невозможна исключительность одного из них...” Вот такая чуча говорит в голове, а тело ползет. И вроде бы это я ползу, и вроде бы это я гляжу со стороны, рассуждаю. Долбоеб, конечно же, но и философ, мама! настоящий физик и к тому же лирик...

Лестницу завалило, задавило. Кирпичи, банки, мокрота, ползу по мокроте. Говорю сам себе по-латыни: полюстр! Болото, значит, мокрое место. Полюстрово наше, из которого царь Петр заставлял всех воду

хлебать, то же самое, что и юношеские поллюции в трусы — тоже мокрота и почти болото. Становится мне все ясно и на всех языках, на цифрах. Тело ползет по мокрому. А мокрое теплое и оказывается кровью. Голова упирается в ботинок, а ботинок надет на ногу, а нога одна, в крови и без тела. Даже что-то видеть начинаю, только очертания, негатив, так в приборе ночного видения один раз смотрел, но пьяный, может, и не прибор был, просто пьяный был и спьяну показался прибор...

Однако нога мне ни к чему — в сторону ее. Тут не до ног, тут дышать нечем. Скребу кирпичи с етитской силой. Мрак тот же, сплошной негатив инфракрасный такой. Не нравится видеть мир шиворот-навыворот. Подуло, когда стали опускаться руки. Куда их опустишь! Но уже собрался свернуться калачиком, как неандерталец в могиле. Даже не подуло, просто глотнул струйку воздуха и зажил заново. Пальцы в кровь, только не больно, когда жажда жизни. Копаю на волю, а в башке говорит помимо меня: “Система е-принципа и р-принципа образует цикличное пространство-время, увеличивающееся непрерывно с условным движением в определенном направлении по окружности р-принципа, при этом в точке е-принципа неизменно образуется элемент воплощения е-принципа, или материи. То есть пространство-время является воплощением р-принципа, а материя — воплощением е-принципа...”

Лезу наружу, как ученый червь к государственной премии. И ведь ученый! Хотя и учился только в механическом техникуме и автошколе. Прозревший! Потому что: “Самое большое значение в оценке любой реальности имеет сознание, абсолютная точка которого является точкой отсчета для любого изучения Космоса. А принципиальная статичность Космоса, заключающаяся в невозможности выхода элемента материи за пределы его собственного элемента пространства-времени, усиливает роль сознания до равноправной принципам существования и развития. Таким образом, любое движение, кроме принципиального увеличения Космоса, связано с изменением состояния сознания, воспринимающего Космос, что влечет, в свою очередь, изменение статуса воспринимаемого элемента материи в сознании, то есть в Космосе воспринимающего сознания...”

И вдруг — бах! Вылез. Такого вкусного воздуха я еще не пил! После грозы так, озон. Сперва полежал без мыслей. Ученые части выключились. Инфракрасное видение выключилось. Все вообще выключилось, а мир включился. Даже забыл про водку, завал и ногу с кровью. Просто лежал на животе сперва, после перевернулся на спину. Какое небо! Почему я раньше не обращал внимания на небо. Ночное оно, но не черное, а искрящееся, похожее на елку с блестками. Помню, давно потушили свет, и мы с

братаном сидели и ждали, когда зажгут и дадут торт. Так же блестели, мигали шары на ветках и бродили тени. Звезды. Насрать я всегда хотел на эти звезды, а тут такое любопытство — вот же оно, пространство, вот время, вот сознание, и все это Космос с большой и маленьких букв, просто так, элементарно, как элементарная частица, как фабричный презерватив, ведь купишь его, маленький он, никакой, а после — амбивалентный и аутентичный...

То ли шок, то ли кислород с озоном. Не сразу очухался, но — бац-бац! — кадры защелкали, и мозги завертелись. Я с Татьяной, женой, пил перед отправкой на сборный пункт, и она мне сказала: “Чтоб тебя отметилили и убили, чтоб тебя черти в плен забрали, чтоб ты сдох под забором, чтоб тебе кровавым поносом жопу разорвало! Надоел, алкаш херов, пропади ты пропадом!” Я же ей справедливо: “Становись-ка, мать, лицом к шифонеру и подыши напоследок. А пожелания я твои не знаю, как и исполнить, — от поноса и пули сгинуть одновременно не получится”. На слова я кладу с прибором, да, а тут вспомнил к чему-то, и стало обидно. Вылез, лежу живой, а никому и ничто...

Так вот, крепости нашей, скажу я вам, более не существует. Всех этих старинных стен: и моста через ров, и круглых башен. Вместо нее ровное такое утрамбованное поле. Точнее сказать, не совсем поле — сперва поле, а затем нежнейший спуск. Хорошо будет на санках кататься. Будто корова слизнула каменные стены, только это была не корова. А что это было, сразу и не поймешь. В стороне юга чувствовалось, но не виделось. Там такая же ночь, только не совсем — как-то я понимал другую материю, и кажущаяся несогласованность утверждения об одномерности пространства-времени с привычными представлениями и как будто даже практическим опытом основана на том, что вопрос мерности восприятия пространства-времени — это вопрос сознания, уже единичное проявление которого рождает двухмерность, а при множественном подходе сознания мерность пространства-времени может приобретать любые значения...

Тем временем засветлело слева. Значит, солнце не погасло, и все продолжится. Даже предутренние птички чирикают и ранняя муха прожужжала. “Что ж тут такого, — думаю, — растакого. Если б не навалилось, так меня б, मुदाка, уже на расстрел вели. И в голове б ничего не лопнуло. А так что ж, народ наш, понятно, жалко. Только они б меня грохнули и не моргнули. Теперь же — война, понятное дело, на ней убивают”. Таким вот образом я кумекаю и очухиваюсь, понимаю себя по частям. На месте вроде все, а в руке автомат АКМ. Я его, похоже, у Ванька прихватил и с ним каким-то образом выкарабкался. Сперва лежал, теперь

сел. По сторонам смотрю, гляжу, вижу. Зорька горит золотая. Все вокруг словно Дворцовая площадь, но немертвое, если птички поют и мухи. Да и трупиков не видно. А видно странное и непонятное, но нестрашное, поскольку новые параллельные мозги я приобрел, а страх, похоже, потерял. Сидит чуток в сторонке от меня за спиной на севере — я все на юг глядел, откуда пришло, да на восток, где залупляется солнце, — сидит на корточках волосатый малец. Жалобно так смотрит, и две слезинки. В каждом глазу по одной, вот-вот упадут. Вид, понятно, нечеловеческий, но и на погибель не похоже. Если у меня могли возникнуть параллельные мозги и философия, то, может, на паренька так подействовало, что он мхом оброс, заволосился. Однако я к мальцу с АКМом приступаю. “Руки вверх! — говорю. — Хенде хох!” Он меня увидал, и подбежал по-собачьи, и сел с левой стороны, как дрессированная трезорка. И что было с мальцом делать? По волосне не человек, а по глазам и рукам вроде наше существо. Погладил его по головке и почувствовал под пальцами бугорки. “Ну-ка, стоять! — говорю. — То есть сидеть!” Малец и сидит, не рыпается, смотрит преданно. Проверил и оглядел, не ошибся. Малец-то оказался бесенком. Рожки у него режутся. Беса поймал! Черта, можно сказать! Или так на людей пришедшее оно действует? Вдруг это какой наш генерал превратился? Или либерал. А вокруг никого, пустыня. Довольно-таки зеленая, приятная пустыня. Только ни крепости, ни пушек, ни солдат, ни командирских шишек. Тогда я и пошел по прямой полями и лугами. Скоро утрамбованное закончилось, продолжились канавы и холмы, не подвергнутая, так сказать, земля. Кого вот привел, и не знаю. Только малец смирный и послушный. Бес или нет, мутант или враг. Пленный, одним словом. Пусть его в штабе подвергнут исследованиям и расшифруют, заставят говорить. Я тут у вас до утра прокантуюсь, а после стану думать, что делать. Ведь идти мне в тыл не так-то уж и того. Ведь приговоренный я к расстрелу, и никто расстрела не отменял. Покуда не стану решать, а утром разберемся. Могу ведь и с вами остаться. Пригожусь как просветленная голова. Фортификационные сооружения сосчитаю цифирью в айн момент. К тому же голос, монолог во мне. Он молчит иногда, а иногда говорит параллельно, вот и сейчас, хотите? — прямо сейчас элементарно, не в обиду бесенку будет сказано:

— Энтелехия, являющаяся единственной элементарной основой Космоса, не позволяет никакого ограничения его существованию во времени, во-первых, по причине отсутствия времени, как такового при отсутствии энтелехии, а во-вторых, из несомненной ее вечности, как по определению, так и по естественным логическим выводам. Вселенная, образованная системой е-принципа и р-принципа, вечна. Это устанавливает

бесконечность ее существования не только во времени, но и в пространстве-времени, а в соответствии с постулатом образования материи определяет количество элементов материи в ней как бесконечно большое. Вселенная при этом непрерывно расширяется, и, следовательно, количество образуемых элементов материи непрерывно растет. Гипотеза “тепловой смерти Вселенной” не имеет под собой никакой почвы уже хотя бы потому, что в Космос постоянно и неизменно приходит новая масса, а следовательно, и новая энергия. Предположения ограниченности расширения Вселенной до определенного предела, после чего она должна начать сжиматься, кажутся весьма странными и необоснованными... Наша Вселенная существовала, существует и будет существовать всегда, при этом ее время стремится к замыканию в супервремя. Она не имеет предела в пространстве-времени и непрерывно расширяется, неограниченно стремясь в объеме от бесконечно большого до бесконечно большого. Количество элементов материи в ней так же неограниченно и непрерывно увеличивается. Наша Вселенная имеет одномерную структуру. Она не однородна и не изотропна, поскольку имеет ярко выраженные координаты образуемого предела пространства-времени и направление его образования, направление времени. Вселенная имеет четкие фундаментальные константы своей основы и достаточно ясно познаваемые. И все сказанное к тому же можно изложить формулами.

Глава одиннадцатая

Ночью высыпала сыпь звезд. Только на стороне врага небо не проронило ничего. Я сидел в дозоре до самого глухого часа, затем со стороны блокпоста, словно тень отца Гамлета, уныло приволокся комедиограф. Он по-узбекски сел на корточки, и мы помолчали вдвоем. Рядом изощренно похрапывал Женя. Он по-детски положил ладошку под жирную щеку и путался в сетях Морфея с непередаваемым наслаждением.

— Моя очередь, — произнес Серега.

— Как раз три часа, — сказал я, глянув на часы.

На их циферблате изображены кленовые листья разных цветов — от осенних увядших до весенних сочных. Выглядело многозначительно, только неясно. Мне их подарили в Мэриленде у папы Мартина, о котором вспоминаю всегда как о чистой игре для взрослых.

— Снился ангел. Он мне снится последнее время каждую ночь, — сказал комедиограф. — Будто я на нем начертал краской: “Здесь был я, Сережа”.

— А ты этого не делал?

— Не помню. В те два часа беспамятства я мог сделать с ангелом все возможное. Даже страшно представить.

— Ладно, пойду. — Я пошел к блокпосту, надеясь поспать перед боем, рассчитывая встретиться если не с ангелом, то хотя бы с женой на прощание и сделать с ней все, что я о ней думаю. Но жена со своей немолодой эротикой отсутствовала, сын отсутствовал со своим “Рамштайном”, дочь отсутствовала со своей дочерью, брат отсутствовал, потому что заряжал торпеды на Беломорканале, родители отсутствовали на земле и во сне одновременно, поскольку ждали в раю, дедушки и бабушки находились там же, несколько друзей замолили грехи в преисподней и теперь парили по ту сторону мира.

Я спал и ничего не видел, а когда проснулся, уже начался бой...

Не совсем так. Я спал и не видел того, что хотел. Когда замерещилось утро и народ зашевелился, кажется, я открывал глаза и вроде бы братья по оружию переодевались в чистые предсмертные рубахи. Даже сыну полка подобрали детскую. Паша чинно крестился в бетонный угол, а Сека, отмахнувшись католическим троеперстием, быстро упал на колени и совершил моментальный намаз, затем зажег буддийскую палочку. Колюня стоял возле стены, задумавшись, словно Рембрандт перед “Блудным

сыном”, затем уверенным движением вывел на стене углем прощальную формулу: $V1 = a1 * (п+в) в1...$

Я спал и ничего не видел, а когда проснулся, уже началась битва. Генеральное сражение. Сперва многотонным грохотом меня сбросило с лежанки. Я вскочил, не думая, натянул джинсы, воткнул стопы в кроссовки и подбежал к тому, что в нашем бетонном убежище называлось окошком. Толком не увидел ничего. Схватил со стола кружку с недопитым кофе, осушил залпом переслащенную черноту, подхватил ватник и винтовку. Сразу возле выхода задержался у рукомоиника, бросил ватник и винтовку, бросил в лицо воды, утерся рукавом рубахи, услышав ее потный запах, пожалел про забытую чистую, которая и у меня имелась, ждала случая под подушкой...

Восток алел новой зарей. Первыми ринулись в глаза веселые искры на вершине холма левого фланга и бело-серые компактные лепные формы, образовывавшиеся после каждого залпа установленных там орудий. Похоже, это были эрегированные стволы фаллических гаубиц. Они били далеко и, возможно, доставали до ужаса. Не сразу, но я все-таки повернул голову и посмотрел на юг. Картина мало чем изменилась по сравнению со вчерашним днем — стена стала, кажется, несколько выше и чернее. В ней искрились какие-то токи. Заметного вреда залповый огонь нашему ужасу не причинял. На правом фланге тоже гремели десятки или даже сотни орудий — пороховое облако поднималось из-за рожи. Только правый фланг в силу своей плоскости не был так нагледен, интересен. Решительные действия в первую очередь ожидалось от тех, кто на холме. Через час безостановочного артиллерийского боя все стихло. Голова оглохла, как на рок-фестивале.

План укрепрайона выглядел так: впереди по-прежнему находился Злягин. Еще до моего пробуждения Колюня с Ваней подтащили к воронке два ящика тротила, многократно усиливая тем будущий взрыв. Как сказал после Колюня, заминированный выглядел молодцом: “Такой прямо-таки матрос Железняк, да!” На левой обочине шоссе находился командир Паша с приданным ему бойцом Серегой. Мы не зря занимались фортификацией — теперь комедиограф целился под “яблочко” из-за невысокого, аккуратного бруствера, сам укрывшись в придорожной канаве. Из канавы и Паша выглядывал, приставив к лицу бинокль. На правом крае мной командовал комиссар Сека. Он стоял в полный рост, и складывалось впечатление: философ ищет смерти. После того как Сека разбил несколько пожилых девичьих сердец, ненароком разорил с полдесятка семейных очагов, ему ничего более не оставалось.

— Традиционная европейская аскеза осуществляется, невзирая ни на что, — именно поэтому она слепа, как инстинкт. — Сека бормотал невразумительное, но без самодурства. Я не слушал, да и не мог, оглохший.

— Когда мировой гармонист отыграет ноты, тогда мы и осуществим разведку боем. Ты. — Кажется, произнесенное уже имело отношение ко мне. — Ты и я. Мы.

— В ходе драки гармониста не трогают. Его место характеризуется особой топикой. Будучи внутри, как бы в самом эпицентре побоища, он в то же время и вне. А мы ударим по самому гармонисту. — Может быть, Сека говорил мне, а возможно, и себе. Справедливо предположить его слова бредом. Чтобы понять будущее, я прокричал вопрос:

— А кто гармонист-то?!

Скуластое лицо философа загадочно передернул тик. Зрачки только сузились, не исчезли. Он не ответил, поправил наброшенный на френч кожаный кожушок, проговорил ко мне почти не относящееся:

— Мир сей удерживается арматурой небытия. Рано еще звучать команде “Вольно!”.

Тем временем пушки отгрохотали, не причинив юго-западу видимого ущерба, и установилась тягостная тишина. Стало слышно передвижение атмосферы, называемое ветром. Обратило на себя внимание солнце, вскарабкавшееся над ужасом. Стала важной температура воздуха. Оказалось, что лето вокруг и жарко. Я скинул ватник и уселся на него.

— А теперь что? — спросил комиссара.

Голос казался патологически громким.

— Теперь, — эхом откликнулся философ и в два прыжка оказался на шоссе.

Прямо на асфальте Паша и Сека разложили карту и стали совещаться. Сперва мы с Серегой не смели, а затем приблизились. Командир чертил новые стрелки. Комиссар молча вглядывался. Появились Колюня и Бесов, находившиеся первый час сражения возле порохового погреба — бетонного изделия в десятке метров от дороги. Командир приказал охранять боекомплект и амуницию. Колюня не возразил и теперь, кажется, дулся с Ваней в карты, судя по трефовому тузу, торчащему из кулака. Ваня Бесов был смешон и трогателен своим античеловеческим лицом, подтверждая аксиомы о том, что все дети хороши, а все взрослые плохи. Все мы носили головные уборы, кто шлем летчика, кто командирскую фуражку, а кто и солдатскую пилотку. Когда один из нас снимал убор и вытирал пот со лба, волосы сразу становились дыбом и чуть под углом в сторону юго-запада...

Неожиданно запиликало. Первые десять нот из “Прощания славянки”.

Это нелепо ожил Пашин мобильник, который и до того иногда звонил, только командир не отвечал. Теперь же задумавшийся стратег машинально достал электронного уродца из нагрудного кармана френча и поднес к уху.

— Командующий блокпостом на проводе... Что?... Нет... Не пил... Не знаю... Понятно. Хорошо, хорошо. — Такой мы услышали часть разговора.

— Кто звонил? — осторожно поинтересовался Серега. — Генерал? Что сказал главнокомандующий?

— А? — Паша отвлекся от стратегических мыслей. — Это жена звонила. Спрашивала, когда дома буду. Просила майонез купить.

— Провансаль, — добавил отстраненно Сека.

— А что там в авангарде?! — Паша обратился к Колюне Морокканову. — Отправь юнгу проверить.

Трезорка поскакал козлом и обернулся за минуту. Он стал мило гримасничать, складывая ладошки и приближая их к волосатой щеке.

— Какая железная психика! — начал восторгаться Серега. — Спит среди грома сотен орудий!

— Я же говорил — Железняк, — подвел черту Колюня.

Тем временем на флангах началось движение. Сперва на холме появились множественные белые точки, заметно отсвечивавшие на солнце. Своеобразная шеренга зашевелилась и стала медленно спускаться по зеленым. За первой шеренгой выкатились вторая и третья. Паша поднял бинокль и стал всматриваться, а мы ждали. Через некоторое время командир радостно крикнул и, не отрываясь от бинокля, стал говорить:

— Вот оно. Началось! Наши перешли в психическую. Буйно помешанные из Скворцова-Степанова в первых рядах. Их устрашающий дивизион заставит содрогнуться, после парализованные и увечные. Да и старики макроцефалы, надеюсь, не подкачают! Инвалидные коляски разработаны в ЦКБ № 1 и испытывались на живых людях!

В голосе командира слышалась гордость за страну и время. Самые бесполезные могли погибнуть публично, сломив врага, выйти на рампу первый и последний раз, сгинув под бешеные аплодисменты. Тем временем началось действие и на правом равнинном краю. Паша перебежал к моему брустверу, не отнимая бинокля от лица.

— Как идут молодцы! — Слова восторга невольно сорвались с губ. — Вчера мне сообщили в депеше, что сводный полк привокзальных бомжей пойдет в авангарде, а за ним в прорыв ринутся остальные... Но как идут!

Я занял свое место на бруствере, и мне было интересно.

— Командир, — попросил я, — дай глянуть.

Паша протянул тяжелый цейсовский бинокль.

— Смотри, — сказал он. — Полюбуйся на красоту.

Я приблизил окуляры к глазам и сперва увидел размытую картинку. Покрутил резкость. Поймал руку, бьющую в барабан. Поднял до лица — увидел жесткие усы и остекленевший взгляд наступавшего. Пошевелил рукой — другие лица, мерзкие морды изношенных мужчин. В бинокль имелась возможность разглядеть только части тел — лучше б не видеть эти струпья, бельма, язвы. Бомжи двигались медленно, но яростно. Таких рож и в таком количестве я еще в жизни не наблюдал. Вдруг померещилось знакомое. Потерял. Нашел. Петров. Не Петров. Нет, Петров. Это было давно — перед Московской олимпиадой, когда в Доме писателей на Шпалерной улице во дворце Шереметевых завелась Комиссия по работе с молодыми. И я, не считая себя молодым, там стал появляться, пытаюсь зацепиться за будущее. А рыжий Петров служил референтом у Германа. Тому отстрелили глаз на фронте — Герману. А Петрова добрый Герман устроил просто так, груши околачивать. Он был рыхлый, с дешевым понтом, никакими рифмами, но не вредный, а просто раздолбай, растративший коллективные деньги молодых литераторов, заработанные теми каким-то довольно честным образом и хранившиеся у референта. Петрова прогнали, только он все равно был и жил. Мы даже как-то плотно общались, недолго. Затем времени прошло до хуя. Петров поиграл в МММ и лишился квартиры. Затем с комодом, который, пожалев, отдали бандиты, переехал в ночлежку. Недавно видел его — не такого теперь рыжего, совсем не Чубайса, похожего отчасти на купол Исаакия, лишняя кожа висела на бывшем толстяке. Человек стоял возле Владимирского собора с рекламой на груди и на спине. То ли ломбард пропагандировал, то ли Интернет. А теперь Петров шел в психическую атаку, опираясь на палочку, в свободной руке держа штандарт Привокзального полка...

Сквозь бинокль хорошо читались детали, но терялась общая картина. Я отдал оптику командиру и стал смотреть просто так. Из-за рощицы, отчасти загораживавшей поле, шеренга за шеренгой выдвигались бомжи и бродяги, шедшие медленно и самозабвенно. Некоторые ковыляли на костылях, некоторые безногие просто ползли, а безруко-безногих “самоваров” братья по оружию несли в бой на носилках. Возле каждой шеренги шло по одноногому сержанту. Это были чудовищного вида существа, цеплявшиеся о землю деревянными костылями, пьяные в хлам, падавшие, поднимавшиеся, державшие в гнойных ртах по сигаре полуметровой длины.

— И у них “гавана”. “Сакраменто”, три звезды. — Я обернулся и увидел Колюню с юнгой Бесовым. От водилы доносился аромат пряного

одеколону, а Иоанн-Трезор пах зоопарком. Вместе они составляли живописную пару, и, если б не экзистенциальность момента, я смог бы легко стать, как говорят прогрессивные, более аутентичным...

По своей чудовищной кинематографичности зрелище не имело себе равных. Организованные в боевые порядки уроды двигались вперед с настойчивостью часового механизма. Их траектории, их гипотенузы и биссектрисы обязаны были впереди соединиться, угрожая центру плотного черного ужаса. Наши взоры невольно обращались туда, мы ждали первой сшибки и результата психической. Ужас несколько изменил форму, все более превращаясь из сплошного стеноподобного объема в перевернутый треугольник, острая часть которого на треть, казалось, выросла в землю. Не представлялось возможным точно сказать, сколько до треугольника оставалось пути — километр или десять. Скорее всего, три или пять тысяч метров. Хотя расстояние и время здесь уже не исчислялись в принятых формах. Просто треугольник изготавлялся к встрече, видоизменяясь, а макроцефалы, психи, бомжи и увечные шли на него. Даже Паша и Сека забыли про свой боевой блеск. Мы ждали, раскрыв рты в прямом и переносном смыслах.

Время не двигалось — двигалось пространство. Треугольник принял почти классическую равнобедренную форму, странным образом балансируя на точке и заслонив солнце, оказавшееся хотя и в зените, но за ним. А может быть, солнце просто опустилось вовнутрь. Посреди поджидавшего ужаса появился розоватый овал, от которого в разные стороны потянулись черные нити, не нарушавшие, впрочем, сложившейся фигуры.

Скоро мы забыли о своем предназначении, о ключе позиции, о стыке между флангами, о присвоенных званиях. Бросив рубежи, мы все переползли (у Сереги, как всегда, получилось лучше других) по шоссе к злягинской воронке. Авангардист не спал, смотрел и матерился:

— Мама, мама, мама! Вот так мама, мама, мама. Знать бы при советской власти, мама. Тогда бы, мама, мама, маму!

— Отставить, — приказал Паша шепотом, вспомнив об эполетах, но Женя лишь отмахнулся:

— Мама маме маму.

Однако затих. Паша прекратил шепот. Сека только бесшумно чесал бровь. Серега потирал ладоши. А Колюня запалил сигару. Только Бесов ритмично икал, нарушая высокий драматизм происходящего.

— К маме, — заметил заминированный.

— Сбегай, сынок, попей водички. — Колюня похлопал Трезора-

Иоанна по плечу, и тот, как кенгуру, ускакал по шоссе.

Впереди происходило все. Из воронки открывался полный вид. Вокруг потемнело, поскольку солнце лишь розово светило через треугольник, который снова чуть опустился, словно вонзившись в землю, будто поймав солнце, светившее теперь почти от земли. А шоссе, казалось, направлялось к самому светилу, оказавшемуся вовсе не центром планетарной системы, а простым манипулянтom явившегося ужаса.

Было видно, как шеренги инвалидов колясок ускоряют ход, постепенно теряя строй. Часть из них взяли вправо и выкатились на асфальт впереди нас. Привокзальный полк также ускорил ход. Кое-кто пытался бежать, падающих подхватывали. Сперва рваный, а затем все более единый вырос звук. Это шедшие на ужас закричали:

— Ура-а-а-а-а-а-а-а-а!

Мурашки кайфа забегали по спине. Захотелось встать в полный рост и побежать, как получится. Сделать так, как стократно представлял в детстве, читая про войну. Захотелось хлебнуть этого испепеляющего восторга, которого никогда не узнал в произошедшей жизни.

Хотя и наступили полусумерки, было видно, что на вершину холма выкатилась конница. В центре ее сверкало золото мундиров и серебро сабель. Флаги и хоругви. Смертельная линия во главе с главнокомандующим фронтом, готовая ринуться и развить успех смертников.

— Может, и мы в маму? — подал голос Женя. — Иначе не успеем в мать!

— Чтобы стоять, даже пота не надо. Кто тогда узнает про наш блеск? — Сека всегда был нервный, но никогда не волновался, а тут и его разобрало.

— Кто-то ведь должен и наблюдать, оставаться современником, чтобы потом... — начал Серега, но Колюня, хохотнув и перебив Серегу, предложил:

— Мне мальчика только крикнуть — он нам миномет притащит!

— Солнце надо рвать на части, — еле сдерживаясь, процедил философ.

Но Паша. Мудрый командир. Он выдержал паузу. Только зубы слышно скрипели сквозь шум наступления.

— Ждем, — сказал. — Иногда ждать — наивысший блеск.

И, оценив психологическую неустойчивость момента, велел доставать коньяк, который последнюю пару суток под персидским ковром хранил авангардист.

“Ура!” продолжалось и даже усилилось. Конница сплошной линией стала спускаться с вершины, выдерживая дистанцию за первой волной атакующих сумасшедших и покуда сдерживая движение. Да и Привокзальный полк мы уже видели со спины. Из-за рощи, частично скрывавшей обозрение, появились мужицкие маршевые роты, неспешно шагающие с винтовками наперевес. С фланга на фланг, перелетая наше шоссе, сновали посыльные. “Ура!” бегущих продолжало зажигать пространство.

— Мама, ура-а-а-а! — хрипло, как Шаляпин или Ленин на патефонной пластинке, зарычал-запел Женя, высовываясь по пояс из окопа и размахивая бутылкой.

Мы подхватили. Сперва крик. Затем Колюня прыгнул на заминированного, накрывая телом, приговаривая:

— Что ты делаешь! А если случайная пуля? Разорвет на мелкие клочья!

— Мама, маза, мутер, — ответил Женя.

Но тут стало не до брани и не до восторгов. Не до Ленина и Шаляпина. Не до коньяка, хотя до него всегда есть дело. Потому что коньяк и ужас оказались похожи. Почти одного цвета. Коньяк был жидкостью, но розово-солнечная середина врага также заметно повлажнела. Овал потерял устойчивую форму, будто размякая, в нем стали заметны какие-то складки, неровности. Он стал агрессивен и моментален, молниеносен. Случилось что-то неуловимое, мгновенное. Черный нитяной с влажным солнечным центром произвел действие, осуществил глагол. Так высасывают белок и желток из сырого яйца. По звуку. По действию — зрение не успело различить. По результату — наступавших вместе с их боевым воем будто корова слизнула языком. Скорее не корова, а мухобойка — одна часть пространства прихлопнула другую. Особых нарушений земляного слоя тоже не наблюдалось, просто поле стало чуть-чуть ровнее...

Так тихо вокруг, что невозможно. Только одинокий хрип-пение заминированного авангардиста:

— А-а-а-а-а-а!

Но и он заткнулся.

Слышно, как на левом фланге дыбятся и кричат лошади. Ряды конницы стали мешаться. Еще чуть-чуть, и начнется гибельная паника. Все это происходило на наших глазах. Влажный ужас, совершив удачное действие, снова отвердел. Вернулись внешняя доброта и миролюбие. Даже внутреннее солнце стало светить ярче. Этим и воспользовался главнокомандующий. Мы видели, как он проскакал вдоль эскадронов,

выхватив из ножен саблю и встав в стременах. Не было возможным понять, о чем он орал, но паника прекратилась, раздался ответный вопль, блеснули на солнце клинки, и лава в отчаянном броске покатила вниз.

Когда красиво, то и слов нет.

— Коммунисты, вперед! — донеслось с правого фланга.

Не вдруг, но роты поднялись. Сразу видно, что это заслуженные отцы семейств, основательные, в очках и шляпах, кандидаты технических и физических наук, конструкторы “почтовых ящиков” советской поры.

— А монетаристы, вперед! Такой бы призыв здесь не прошел! — нервно прокомментировал Серега.

Не так вычурно, как конница, однако неостановимо, безудержно, целенаправленно, рассудочно-угрюмо и надежно. Они бежали небыстро, почти трусцой, выставив винтовки, рассчитывая взять ужас на штык.

Женя хлебнул из горлышка. Паша за ним. Затем Сека и Серега. А Колюня состроил хмурую гримасу и проворчал:

— Как вы можете в такой момент?

Сын полка Бесов согласно кивал и похрюкивал.

...Кто знает закон красоты? В чем совершенство верховой езды? Одно животное (человек) вскарабкивается на хребет другому (лошадь — конь), колотит того по бокам, чтобы колотимое полетело галопом...

Было красиво. Одни бежали, другие скакали. Хотелось и плакать, и присоединиться, и просто смотреть, чтобы запомнить.

Красота длилась настолько долго, что ее продолжительность вряд ли исчислялась более чем в десяток минут. За эти бесконечные минуты красоты в ужасе снова произошли теперь уже знакомые изменения — сухой и успокоенный овал розового солнца снова стал набухать влагой, раскрываться складками, ровная чернота вокруг стала нитяной, устремленной. Теперь было совершенно ясно, что перед нами осмысленная масса.

Добавить тут нечего. Красиво скакали слева, красиво бежали справа, красиво розовело влажное солнце. И дальнейшее свершилось настолько стремительно, что событие не чем, кроме как красивым, назвать невозможно. Опять моментальный жест, и — чисто, плоско, безлюдно. Никаких смертельных ран и истекающих кровью героев. Погибать всегда хочется долго. Так, чтобы тебя успели увидеть и запомнить, как кино. Чтоб было кому и что обсудить. Чтоб каждое слово и гримаса получили множественные трактовки. Здесь и говорить нечего. Влажно-розовый изгиб пространства, неуловимый бросок, и от наступавших не осталось даже мокрого места. Более никто не появился на холме, да и за роцей тихо.

Только мы на стыке флангов, ключевая позиция. Только ключа нет, чтобы вставить в скважину.

Насколько быстро минула первая половина дня, настолько долго длилась вторая. Солнце продолжало маломощно светить, словно торшер, и пространство вокруг говорило про вечер, напоминало про адюльтер, трогательное свидание, уединение со смыслом. Осмысленная масса треугольника ждала, похоже, от нас каких-то, желательно конкретных и решительных, действий. А мы уже третий час ни бэ ни мэ. Даже между собой — только междометиями.

И третий час Паша смотрел в бинокль. Он вглядывался и вглядывался, но не мог наглядеться. Тогда комиссар, уставший ходить по шоссе взад-вперед, подошел к командиру и сказал тому тихо, но так, что мы все услышали:

— Все, командир. Время перетекло водораздел. Пора рвать солнце на части.

Паша будто ждал этой реплики. Он быстрым жестом опустил оптику, смахнул со щеки невидимую пылинку и произнес, как и положено, командирским голосом:

— Морокканский, сюда!

Колюня, заскучавший по решительным словам и лежавший за бруствером с дымящейся сигарой в зубах, вскочил, отпихнув юнгу Бесова, свернувшегося возле ног шоферюги клубком и сопевшего в счастливой дреме.

— Я! — почти весело выкрикнул Колюня и шустрой рысью рванул к командиру.

Паша оглядел добежавшего и остался доволен.

— Какие мысли, боец? — по-отечески поинтересовался командир, и Колюня весело отбарабанил:

— Служу Советскому... — он несколько сбился, поразмыслил над тем, кому служит, и, найдя форму, повторил: — Служу!

Паша сделал паузу, стал теревить аксельбант, перестал, сцепил руки за спиной, выкатил грудь колесом и произнес так, что бесполезно тут было искать второй смысл:

— Тогда пойд и приведи. Приведи самолет. Прямо сюда! И прямо сейчас!

Колюня понял с полуоборота, стукнул сбитыми ботинками об асфальт и рывкнул так, что кемаривший Женя очнулся и поднял голову:

— Да, мой командир! Есть пойти и привезти самолет!

Морокканов крутанулся на каблуке и устремился по шоссе в тыл.

Юнга Бесов, смешно подтягивая великоватые галифе, поскакал за ним.

И тут Женя все понял. Он сказал высоким и звенящим от молодости чувств голосом:

— Наконец-то! Ведь достала эта желудочно-кишечная жизнь! Я уж думал, никогда мы меня взрывать не будем!

— Смотрите! — закричал Серега, и все посмотрели сперва на него, а затем на то, куда он указывал.

Это было так. Он, она, оно. Ужас или то, что его вызывало, снова ожил. Линии треугольника прочертились контрастней, овал стал терять матовость, влажнел, умножался жирными складками, принимая осмысленный вид. И еще это двигалось, будто бы двигалось в нашу сторону. По крайней мере, это нас различало.

— Ага! — снова Сека со своим лихорадочным интеллектом. — Или мы разорвем солнце! Или оно нас!

— Всем к блокпосту! Женя, ты в авангарде! Покуда ждем самолет! — прокричал Паша приказ, и мы ретировались, залегли вокруг бетонного укрытия, стали целиться из винтовок, понимая бесполезность, но и успокаиваясь от понятности дела.

Это не походило ни на что и на все сразу. В нем содержался полноценный смысл, еще не облеченный в слова. Первичный слой ума не боялся, испытывая лишь любопытство, какое охватывает во время встречи с человеком, которого не видел полжизни. Уже в процессе контакта начинаешь вспоминать все плюсы и все минусы, счастье и трагедию прошлого общения. Нет... Все, естественно, не так. Слова не точны. Они лишь приблизительные фигуры. Они даже в большей степени фигуры умолчания, когда произнесены... Именно так должен обрываться выдох, продолжаясь промежуточной маргинальной смертью. Но если для нас выдох, то для ужаса вдох.

Это двигалось! Совсем по чуть-чуть, но все-таки. Треугольник стал огромным, заслонив половину неба, делая его не имеющим смысла. Треугольник шел, как смерч, только не вращаясь, прямолинейно, распаляясь, влажнея. Черные нити вились вокруг розовых складок солнца. И тут ужас остановился. Сотни метров разделяли нас. Между выдохом и вдохом образовалась пауза. Если мы стремились выдохнуть, то оно явно хотело вдохнуть. Мы могли со взаимной пользой обменять плюс на минус и разойтись до следующей встречи.

Неожиданные свежие токи прокатились по телу. Это можно было сравнить с немотивированным юношеским возбуждением, со спонтанной эрекцией без объекта. И еще немного нервно. Приятная дрожь по телу.

Время томило. Оно снова появилось между нами, становясь препятствием. Женя кричал из воронки, чтобы мы не беспокоились. Он поползет вперед, как Александр Матросов, и закроет грудью. Взорвет, одним словом, заминированной грудью. Время — тик, и время — так. Что Паша видел такого сквозь бинокль, чего нам не различить? Он, она, оно представляло из себя осмысленную плоть, шевелило складками-губами и сказало б свою правду, если б знало по-русски.

— Паша, — спрашиваю я неожиданно хриплым шепотом, — ты можешь прочесть по губам, что оно-она хочет?

Паша продолжал смотреть в окуляры, но я увидел, как он саркастически улыбнулся.

— Да, — ответил командир, словно отрезал кусок луковицы.

— Чего же хочет оно-она?

— Того же, что и мы.

Мы хотели. Кто больше, кто меньше. Время — тик, время — так. Препятствие времени, превратившегося в пространство.

И тогда за спиной скрежет. И мы как матросы. Почему-то в башке так щелкнуло — как матросы. Хотя моря здесь нет. Только влажные губы и солнце впереди, но они не море, хотя, возможно, и — да. Мы занимаем круговую оборону, готовые к решительной схватке. Здесь уже нет командиров, комиссаров, солдат. Здесь уже нет ничего, что могло бы размежевать. Только это не то. Не ужас со спины. Не он, она, оно. Это веселая картинка, полная замысловатого абсурда, выдвигается из-за рошцы, закрывающей шоссе на повороте.

Юнга Иоанн-Трезор Бесов, героический и двужильный малец. Он тащил на веревке самолет, из кабины которого торчала сигара Колюни. Сперва серебряный дым, затем сигара, после нее простонародный бесформенный нос под шлемом Экзюпери.

Главное — проблема, как погрузить Женю. Мы с Серегой с превеликим трудом уложили авангардиста на носилки и потащили к самолету. Колени подгибались, и руки готовы были выскочить из плечевых суставов. И тут затрещал брезент, и заминированный сквозь лопнувшую ткань, как коровья лепешка, вывалился на шоссе. Мы с Серегой замерли, ожидая неминуемого взрыва. Но он не случился. Несколько мгновений Женя лежал с закрытыми глазами, затем поднял веки, огляделся, понял, что не в раю, и проворчал:

— Мамочка, мамулька, матерая мать и матрица.

Колюня прислал Бесова, и проблема решилась легко. Малец, становившийся все более востребованным в эти последние минуты войны

и романа, легко, словно коромысло, уложил Зягина на юношеские плечи и единым махом доставил тело к самолету.

Тут уж и мы навалились. Женя оказался в кабине, и, судя по реплике: “Маму мацать мало, мать”, ему там понравилось.

Теперь о самолете. Он оказался серебрист и красив, как красив всякий предмет, выдержанный в правильных пропорциях. Упругое тело заканчивалось полусферой с винтом. Аккуратные крылышки говорили о подвижной верткости. Самолет возник, как долгожданный и искомый элемент. Поэтому все стало происходить стремительно. Да и ужас не давал повода к успокоению. С появлением самолета треугольник стал вибрировать и наступать нетерпеливыми толчками. Расстояние между нашим выдохом и его вдохом быстро сокращалось, и следовало спешить. Легкий, словно юноша, летательный аппарат имел всего четыре посадочных места, и Паша только покачал головой, позвал нас с Серегой и сказал хрустящим от радостного волнения голосом:

— Такая, однако, незадача. Вы остаетесь. Если перегрузить тело “Яка”, то можем не долететь. Пародия никому не нужна.

— И? Что и... И что потом? — Комедиограф побледнел. Он приложил ладонь к виску, отдавая честь, которую не просили. Пилотка упала на асфальт, и теперь волосы стояли дыбом и шевелились под наклоном.

— Вы остаетесь за всех. — Паша не верил в приказ, но должен же был что-то говорить.

— Да, мой командир, — сказал я.

— Тогда станем прощаться. — Мы обнялись. От командира пахло одновременно походным костром и одеколоном “Рожер и Галле”. Затем Паша обнялся с Серегой. После Серега потянулся и ко мне.

— Мы же с тобой остаемся, — объяснил я, и комедиограф опустил руки.

Все происходило нелепо и разумно, логично и бессмысленно, на выдохе, когда пустота приближается вплотную, и на вдохе, когда от лишнего кислорода закипает голова.

Хлопотали, словно собирались на дачу. Колюня погнал юнгу за коробкой сигар, а Сека достал обломок расчески, снял комиссарскую фуражку и начал нервно причесывать пыльные кудри. Только и у него волосы дыбились. Командир и Колюня напоследок осмотрели “Яка”, пытаясь хотя бы на глазок обнаружить неисправности. Зягин из кабины рычал невнятно, но его не слушали.

— По коням! — скомандовал Паша, и сцена прощания продолжилась.

Жали руки и производили бессмысленные звуки. Бодро скалились.

Никто ничего не понимал, но знал. Глаза блеснули, и в зрачках отражалась наступавшая влага розовых, нитяных складок. И тут жалобный звук не в тональности момента. Это юнга Бесов, которого тоже не брали, потерянно всхлипывал в сторонке. Тогда Колюня, уже полезший за штурвал “Яка”, спрыгнул на землю и поманил Иоанна. Тот в два прыжка приблизился, опустился на четвереньки, стал ласково тереться головой о мятые штаны шоферюги.

— Ладно, малец, ладно. Поднимись. — Колюня растрогался. Он старался смотреть сурово, а голосу придавал металлический оттенок: — Я тебя отпускаю. Иди, иди. Беги к своим.

Трезор— Иоанн Бесов, юнга, малец, чертенок с рожками, приданный нам судьбой, нашедший в шараханутом Колюне Морокканове батяню, не уходил. Тогда шоферюга одним движением вытянул из штанов ремень с моряцкой бляхой и с размаху ударил Ваню по спине. Чертенок взвыл, отпрянул, посмотрел, подержал взгляд недолго, затем, перепрыгнув через обочину дороги, резво поскакал по траве в сторону рощи. Прыжок, другой. Скрылся навсегда.

— Ну вот. — Колюня вздохнул и, отмахнувшись от лишних мыслей, полез в кабину.

Двигатель врубился с пол-оборота. Винт завращался с такой скоростью, что стал невидимым. Сигарообразный аппарат зашевелился. В окошке кабины виднелся профиль Колюни с “гаваной” в зубах. Упругое тело “Яка” покатило по асфальту шоссе, быстро набирая скорость. Было видно, что это движение в охотку и застоявшейся машине, и людям, забравшимся внутрь. Еще мгновение, и самолет оторвется от земли. Еще чуток, и всему все. Что-то надо было сделать или подумать, но я лишь закричал про себя: “Хотя ты и полный урод, Колюня, и дундук! Хотя ты пьянь несусветная и деградант! Но даже черт! Даже черт... Черт возьми! И поэтому я бы не стал в тебя стрелять на расстреле! Я бы не стал целиться тебе в лоб, в сердце, в горло и живот! Я бы стал целиться в небо! В какой-нибудь листочек! Мимо стал бы целиться и стрелять! Только это б не спасло, поскольку не я один! В этом вся закавыка! Не я один, и не ты один! Не мы одни, и они не одни! Нет одиночества ни в жизни, ни в смерти! Да и смерти нет — есть только перемена состояний и принятых смыслов!” Я кричал про себя, срывая связки, а “Як” подпрыгнул раз, другой и взмыл. Так солдат в увольнительной после деревенских танцев весело летит за белым девичьим платьем, призывно мелькнувшим в темноте. Только тут не деревня и не танцы. Впереди все так же тек вселенский лобок. Он, ужас, надвигался ритмичными и нетерпеливыми движениями. Она в нем из

розового превращалась в возбужденный красный, готовая заговорить смертельные слова любви. Она и говорила, но в иных герцах, непонятных барабанным перепонкам. Остальной мир перестал дышать и замер, как замирает подросток, случайно набредший в лесу на спаренные тела.

Самолетик казался безмерно малым объектом, но все равно желанным. Если армии Уродова были просто размазаны волосяной мухобойкой пространства, то летательный аппарат она-ужас принимали, словно ребенок сладкую пилюлю. Серебряная стрелка “Яка” хорошо прочиталась на розовом фоне и юркнула в возбужденное солнце. Она-ужас содрогнулась в сладострастном спазме. Стала нежно тускнеть и меркнуть. Но не гибнуть, а просто успокаиваться.

Время пресеклось на протяжную и сложную долю, после которой пространство снова стало его щедро выделять. Вернулась возможность шевелиться и думать, а не только смотреть, будто фотоаппарат.

Сергея рядом тревожно прошуршал:

— Это какой-то, извиняюсь за выражение, п...ец.

Волосы на его непокрытой голове стояли дыбом. Сергей оказался недалеко от истины. Она-ужас почти вплотную подошла к нам, и я ее узнал. Нам оставалось только сдаваться, и, подняв руки, мы пошли навстречу. Сергей шел чуть впереди. Он споткнулся о кочку, обернулся, и я увидел его лицо. Улыбка озаряла, освещала, иллюминировала, делала лицо ясным, красным и красивым. Он поднимал руки все выше и выше. А над ними, почти касаясь вытянутых пальцев, парил золотой ангел. Он парил над Сергеем, но отчасти и надо мной. И тогда все встало на свои места. Ангел оказался настоящим ужасом, а впереди черно-розовой стеной надвигался всего лишь страх. Расхотелось сдаваться. Я опустил руки, расстегнул на джинсах ширинку и пошел навстречу.